

НОВАЯ ПОЛЬША

№4(107)



2009

МАРЕК ЭДЕЛЬМАН: ЛЮБОВЬ В ГЕТТО

Марек Новаковский: СИОНИСТЫ — В СИАМ!

Беседа с Лехом Валенсой

Интервью с Войцехом Ярузельским

Адам Михник о Казимеже Мочарском

Место Польши в НАТО

Стихи ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ и проза ПАВЛА ГЕРЦА

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

**Вы можете подписаться на «Новую Польшу»,
перечислив деньги на наш счет и отправив нам по почте,
факсу или электронной почте копию подтверждения оплаты
с пометкой: *prenumerata*.**

Наш адрес:
Nowaja Polska
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Подписка в Польше:

Название банка: BANK HANDLOWY SA I O/WARSZAWA
Номер счета: 55103010160000000003327001
Цена 1 экз. — 7 зл.
Цена годовой подписки — 84 зл.

Подписка за границей:

Название банка: BANK HANDLOWY SA I O/WARSZAWA
Адрес банка: ul. Traugutta 7/9 Warszawa
Номер счета: PL 55103010160000000003327001
SWIFT: CITIPLPX
Цена годовой подписки — 70 евро или 90 долларов

Информация о подписке за границей:

Тел. +48 22 608-27-95
Факс: +48 22 608-25-05
e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о подписке в Польше:

Тел./факс: 22 608-24-88, 22 608-23-74
e-mail: czaspatron@bn.org.pl

НОВАЯ ПОЛЬША



№ 4(107)
2009

апрель

ISSN 1508-5589

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК



К 66-й ГОДОВЩИНЕ ВОССТАНИЯ
В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО

Марек Эдельман
ЛЮБОВЬ В ГЕТТО

3



Адам Михник
ИЗ ИСТОРИИ ЧЕСТИ И ГНИЛИ

7



Виктор Кулерский
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

20



К 20-летию «КРУГЛОГО СТОЛА»

КОММУНИСТЫ — И ОТДАТЬ ВЛАСТЬ?
Говорит Лех Валенса

29



МНЕ ТАКАЯ ПОЛЬША НРАВИТСЯ
Генерал Войцех Ярузельский о переломе 1989 года

32



IN MEMORIAM

ВОСПОМИНАНИЯ О БРОНИСЛАВЕ ГЕРЕМЕКЕ

42



Болеслав Бальцерович
ПОЛЬСКИЕ ГОДОВЩИНЫ: НАТО

44



Вислава Шимборская
СТИХОТВОРЕНИЯ

49



Лешек Шаруга
ПОСЛЕ ДВОЕТОЧИЯ

53



Павел Герц
ДМИТРО МОЙСЮК
Из книги «Седан» (1948)

55



Марек Новаковский
СИОНИСТЫ — В СИАМ

66



Дмитрий Евтушенко
МАСТЕР-КЛАСС КШИШТОФА ПЕНДЕРЕЦКОГО
В ВЮРЦБУРГЕ

70



Эугениуш Соболь
ПОЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД НА РУССКИЙ ЭРОС

72



Сергей Секиринский
РОССИЯ И ЕВРОПА

73



Эльжбета Савицкая
КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

76



Лешек Шаруга
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

80

Редакционный совет

Стефан Братковский
Генрик Возняковский
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Цёсек

Ежи Помяновский

(главный редактор)

Редколлегия

Элиза Вольская
Наталья Горбаневская
Галина Дубик
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Петр Мицнер (зам. гл. редактора)
Кристина Пашек (секретариат)
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих
(зам. гл. редактора, секретарь редакции)
Эльжбета Савицкая
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевнионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевнионков-Кисмелов

Техническая редакция

Паулина Зеленая

Адрес редакции

BIBLIOTEKA NARODOWA

Al.Niepodległości, 213

02-086 Warszawa

Ал. Неподлеглости, 213

02-086 Варшава

тел: (0-22) 608 27 95; 608 25 65

факс: (0-22) 608 25 05; 608 27 96

e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о журнале для стран СНГ:

Издательство МИК, Москва,

ул. Большая Переяславская, д.15, кв.49

тел: 621-41-42

e-mail: mic@inbox.ru

Журнал издается под патронажем Национальной Библиотеки

по поручению Министра Культуры

и Национального Наследия Республики Польша

Тираж 4700 экз.

Переводчики: А. Базилевский, А. Бондарев, Е. Гендель, Н. Горбаневская,
Н. Кузнецов, М. Курганская, С. Политыко.

Фото ©: Agencja Gazeta (стр. 29, 32, 42), Archiwum (стр. 7).



Марек Эдельман

Перевод Натальи Горбаневской

ЛЮБОВЬ В ГЕТТО

(Из книги «И была любовь в гетто»)



Пани Тененбаум, медсестра из больницы Берсонов и Бауманов, была подругой адвоката Беренсона. Она каждый день готовила ему обед. После обеда адвокат засыпал, и тогда приходила ее дочь, послушная семнадцатилетняя девушка, чистенькая, гладко причесанная, в белой накрахмаленной блузке. Помогала маме убирать.

Закончилась Большая операция*, и 44 тысячи человек получили «номерки жизни». Среди них — пани Тененбаум. Когда все с номерками вышли на сторону «к жизни», кто-то заметил, что пани Тененбаум лежит в постели, а на столике стоят пустые бутылки от люминала, а также письмо и ее номерок жизни. Пани Тененбаум написала в этом письме, что свой номерок отдает дочке и что она покончила с собой.

Дэда, так звали дочку пани Тененбаум, получила этот номерок жизни. Не буду подробно рассказывать о разнице во мнениях среди докторов, спасать или не спасать пани Тененбаум. Одни считали, что надо, другие — что нет, потому что такова была ее воля. Так оно и осталось.

У Дэды был номерок жизни. Такая несмелая девушка, и осталась одна. И вдруг влюбилась в какого-то парня. Видно, было у нее и немного денег, так как парень обеспечил им жилье на арийской стороне. Она в этой любви расцвела. Три месяца в полном счастье прожила она с этим парнем в квартире на арийской стороне. Ничего другого в ней не было видно — только эта любовь. Кто ее видел, все без исключения, говорили, что она лучилась счастьем. Марысе, которая к ней приходила, сказала, что это самые счастливые месяцы в ее жизни. Тепло, которое давал ей парень, заставило ее забыть о гетто. Это счастье продолжалось три месяца. Потом — может, деньги кончились — хозяева выдали ее и ее парня.



Почти сорокалетняя врачиха, муж — тоже врач, офицер авиации. Пропал без вести во время войны. Она не знала, что с ним случилось. Теперь известно: он погиб в Катыни. На второй день войны она пришла в больницу, на свой рабочий пост, и с поста уже не сошла. Была она очень одинока. Чувствовала себя нескладно. Завязался роман между ней и парнем на пятнадцать лет моложе. Парень внезапно заболел, она взяла его к себе в постель и каким-то чудом спасла. Спала с ним в одной постели несколько дней. Потом она говорила, что в своем одиночестве впервые нашла кого-то, была с кем-то и с этих пор будет стараться всегда с кем-то быть. Во время Варшавского восстания она снова осталась одна. У нее был флакон, а в нем четыре грамма (колоссальная доза!) морфия. Она выпила эти четыре грамма морфия, и, когда она уже слегка пошатывалась, кто-то пришел и силой влил ей в

горло кружку воды с мылом. Ее вырвало, и в середине ночи она проснулась уже в сознании. И тогда началась ее великая любовь с парнем на двадцать лет моложе ее. Она прожила с ним в счастье этот период, между концом восстания и ноябрем, когда ее вывели из Жолибожа — счастливой, улыбаю-

* Речь идет о депортации населения из т.н. «Большого гетто» в лагерь смерти. — Ред.



шейся, всем помогавшей. Кончилась война, она поселилась в Лодзи. Однажды кто-то к ней пришел и застал дверь открытой. Впечатление было, что квартира пустая. Между тем, как оказалось, в кухне, под одеялом, с головой закутавшись в это одеяло, лежит пани доктор. Может, спит, может, дремлет. Вдруг она садится и говорит: «Я тут больше одна не буду, — и это говорит такой отважный человек, как она. — Я боюсь, я должна отсюда бежать». Неизвестно, как, но она добралась до Австралии. Там она тоже была одна. Крупный специалист в своей области медицины. По Тихому океану плавало судно с еврейскими детьми, и ни одно государство не хотело его выпустить. Оно стояло на рейде, в двенадцати милях от берега. Жители на лодках подплывали к кораблю и забирали по несколько детей. Моя врачиха тоже вышла на берег. Забрала двух мальчишек и девочку. Один из мальчишек стал архитектором и строил в Шанхае, другой — профессором судостроения, а девочка — лаборанткой высшей квалификации. Когда один из ее «сыновей» попрос, она в него влюбилась и прожила с ним долгие счастливые годы. Потом написала в письме, что хотя уже знает, что случилось с ее мужем, которого она очень любила, но в живых ее удержала любовь. Любовь и тепло ее сына, который стал потом ее любовником. Умерла она, дожив до 90 с лишним лет.



своей повозкой. Они догнали идущих и вдоль всей многотысячной толпы стали искать ее маму. Увидели ее перед самым Умшлагплацем. Она сошла с повозки, он остался на краю тротуара. Она ему сказала: «К сожалению, мы должны расстаться, мама не может идти одна в такую дорогу». И пошла за мамой в вагон. Что случилось с ее сестрой, неизвестно.



подругой старой врачихи, которую забрали в облаве на арийской стороне в Освенцим. Остался этот старый еврей с длинной седеющей бородой. Он влюбился в нашу связную, и так они вместе жили до самого Варшавского восстания. Их любовь была такой сильной — пожалуй, с обеих сторон, — что они позабыли про все средства осторожности и вместе, держась за руки, ходили по городу. Они выглядели такими счастливыми, что могли так, взявшись за руки, свободно ходить по улицам

Мама этой девушки заболела. Девушка осталась одна с сестрой-близнецом. Они боялись оставаться ночью с больной матерью. К ним начал приходить парень, рикша. Когда с мамой было очень плохо, он оставался на ночь, а она со страху, что что-нибудь случится, прижималась к нему. Она спала с ним в батистовой ночной рубашке. Прижималась к нему и спокойно возле него засыпала. Вроде бы у них началась любовь. Неизвестно точно, любили ли они, да и знали ли, как это делается, но благодаря его присутствию она наполнялась спокойствием. Мама начала выздоравливать, а она пошла работать. Однажды на Кармелитской была облава. Когда она об этом узнала, побежала домой, но мамы уже не было. Толпу, несколько тысяч человек, гнали на Умшлагплац*. Попался ей тот парень-рикша со

Был Рождественский сочельник. Две наши связные жили на Мёдовой, в доме, в котором теперь Государственное высшее театральное училище. Они вернулись домой, когда уже стемнело, и начали распаковывать покупки. Вынимали разные вкусные вещи, когда кто-то постучал в дверь. Это был пожилой господин с длинной бородой. Еврей, которому полчаса назад удалось сбежать из участка. Знакомы ли они были прежде, трудно сказать. Может быть, знали о существовании друг друга, поэтому он сюда и попал. Он остался. Пришли еще другие девушки, якобы на сочельник, и так они, вчетвером или впятером, остались на ночь. Спали на полу. Одна из наших связных любила с ним всю ночь на глазах у всех. Трудно сказать, не была ли эта связная бисексуальной, потому что до этого она была

* Место погрузки эшелонов — *Ред.*



и не испытывать никакого страха. Их разделило Варшавское восстание, и он сказал: «Никого у меня уже нет, я один, и уже никто мне руки не подаст». Четыре недели восстания он пережил, сидя на ступеньках в Старом городе. Она работала санитаркой в каком-то госпитале в другом районе. Встретились в Центре*, где вместе прожили неделю. Оба ожили, снова не чувствовали страха. Он, пережив восстание, был арестован УБ**, и след его пропал. Она осталась одна в Варшаве, родила двоих детей — и, как сама говорила, всё, что к нему чувствовала, вложила в этих детей. Замуж никогда не вышла. А была хорошенькая.



Она была в больнице в гетто техническим работником. Красивая, но глупая. Как-то выбралась на арийскую сторону. И стала нашей связной. У нее были голубые глаза, но говорили, что у нее глаза, как у коровы. Во время Варшавского восстания она была в Жолибоже. Однажды граната взорвалась прямо около нее и тяжело ранила одного бойца. Она взялась за ним ухаживать и, разумеется, тут же в него влюбилась. Шесть недель лечила ему раны на голове, считая себя крупным специалистом, потому что раньше работала в больнице. Жолибож капитулировал, но у него всё еще не было сил ходить. Она осталась с ним в Жолибоже, оставленном гражданским населением. Где-то в ноябре их нашел патруль Красного Креста. Его вынесли, а она пошла за носилками. Осталась с ним. Они были вместе до конца

его жизни. Наша глупая связная говорила, что ей стоило претерпеть гетто и Варшавское восстание, потому что благодаря этому она знает, что такое любовь и насколько можно себя отдать другому. Когда он умер, она всю любовь перенесла на сына. Но эта ее любовь была безумно тягостной.



Стемнело. До комендантского часа оставалось полчаса. А он получил приказ перейти в малое гетто. Молодой, здоровый, быстроногий. Помчался. Всё устроил. Перескакивая от подворотни до подворотни, дошел до своего дома. На темной лестничной площадке стояла какая-то тень. Он дотронулся и ощутил две толсто сплетенных косы. Они обнялись и вместе поднялись на второй этаж. И уже всю войну оставались вместе. Вместе прошли всё, что было худшего и лучшего во время оккупации. После войны она уехала в Америку одна. Он остался. Они выучили друг друга, выучились быть единым целым. Через двадцать лет снова встретились. Хотя всё это время каждый жил своей жизнью, они продолжали быть единым целым. Когда она умирала, ее опекунша позвонила и спросила, можно ли прекращать лечение.

Мыльная улица начиналась у Переезда и, идя зигзагом, кончалась на огороженном скверике, прилегавшем к Кармелитской. С другой стороны скверика подходило идущее дугой Новолипье, которое дальше, уже выпрямившись, тянулось по другую сторону Кармелитской. Улицы Переезд сегодня тоже нет. Она начиналась возле Лешно и, пройдя мимо Длугой с восточной стороны, создавала маленькую площадь с искривленной Мыльной и дугообразным Новолипьем, а за Новолипками сворачивала к Налевкам.

Во время июльской Большой операции, случайно проходя по Мыльной, я увидел в подвальном окне последнего прилегавшего к скверу дома перед Кармелитской лицо Хендуси Химельфарб. Она была моей одноклассницей, дочерью великого общественного деятеля, вождя профсоюзов. Во время войны она работала в санатории Медема в Медзешине под Варшавой. Туда направляли детей из варшавского гетто, которым угрожал туберкулез, и там, в атмосфере дружбы и семейного тепла,

* Центральный район Варшавы — *Ред.*

** Польской ГБ — *Ред.*



они якобы проходили лечение. У нее было светлое лицо и светлые толстые косы. Обычно она закалывала их на голове короной, сейчас они висели книзу. «Хендуся, выходи, — позвал я ее. — Есть возможность выхода для таких, как ты. Завтра выйдешь на арийскую сторону». Нас разделял тротуар и этот огороженный скверик. «Тут со мной сто пятьдесят детей, не могу же я их оставить. Они не могут одни пойти в вагоны и одни поехать в этот путь», — кричала она мне из подвального окна через всю ширину тротуара. В этом доме раньше была евангелическая больница. Теперь там поместили санаторий Медема, привезенный из Медзешина, но Хендуся знала, куда ведет эта дорога. Знала это и Роза Эйхнер, старая учительница из Вильно, которая с ними осталась. Все другие учителя и воспитатели разбежались кто куда, когда вывозили санаторий из Медзешина. Среди них — жена Артура Зигельбойма* с сынишкой, которая спряталась в кустах между Медзешиним и Вёзовней. Но кто-то, должно быть, их выдал, и там, в этих кустах, они были убиты. С детьми в Варшаву, а потом и дальше, в последний путь, поехали только Хендуся и Роза. Хендуся могла выйти, выжить, спастись. Но она не хотела, чтобы дети боялись, чтоб они плакали. Она осталась с ними, сознавая, что станет. Из чувства ли долга или из любви к ним? Тогда это было одно и то же.



Старшая сестра, высокая, красивая, с шапкой белокурых, с золотистой рыжиной волос. Она живет в бывшей операционной, где целая стена застеклена. Стоит в домашнем халате у окна и зовет пробегающего по двору мальчишку. Открывает ему дверь, распахивает халат и показывает прекрасное, молочно-белое тело. Парень поражен, но все-таки входит. Она впрыскивает ему дозу морфия и, обнаженная, ложится на кушетку, а он в растерянности убегает. А потом наступает Большая операция по выселению. В нее влюбился врач, фольксдойч пятой категории, которого немцы назначили комиссаром больницы. Во время Большой операции, когда с Сенной выселяют детскую больницу, ее забирают на Умшлагплац вместе с детьми. Комиссар узнаёт об этом вечером, показывает свое немецкое удостоверение, и

его пропускают на Умшлагплац. Он находит ее среди толпы и выводит. После комендантского часа они уже в его квартире. Любят до безумия целую ночь, а потом он выводит из гетто ее и ее туберкулезного мужа и снимает им квартиру в Свидре. Каждый день приезжает к ним, привозит еду. Всегда, когда он приезжает, они выходят на полчаса в лес. Однажды он приезжает и застает квартиру пустой. Соседи говорят, что их только что вывели и что они лежат расстрелянные возле железной дороги. Он идет туда, падает на колени и долго молится. Сбегает, когда приближается немецкий патруль. Так кончилась эта безумная любовь.

Записала Паула Савицкая 27 янв. и 19 февр. 2008

I była miłość w getcie, Marek Edelman, Wydawnictwo Świat Książki, 2009

* Шмоль Зигельбойм (1895-1943), деятель Бунда (еврейской социал-демократической партии), в 1940 г. выбрался из Варшавы и выехал на Запад, где пытался представить положение евреев на оккупированных территориях. Вошел в состав эмигрантского Народного совета Польской Республики. Совершил самоубийство в знак протеста против равнодушия союзников к Катастрофе. — *Ред.*



Адам Михник

ИЗ ИСТОРИИ ЧЕСТИ И ГНИЛИ



Казимеж Мочарский

Верный нацист Юрген Штрооп провозглашал в 1949 г., что политика Гитлера имела смысл, так как формулировала здоровые и благородные цели и вела к очищению Германии от «космополитическо-жидовско-масонского вранья», к торжеству националистических идей, к наведению порядка и к могуществу Третьего Рейха. Времена правления Гитлера он называл самой прекрасной эпохой в истории Германии, а военное поражение объяснял сговором врагов: евреев, масонов и иезуитов. Политика была для Штроопа не потаскухой, а упорной борьбой с гнилью мира, враждебного нацизму.

Такого мнения придерживался человек, который в апреле 1943 г. зверским образом ликвидировал варшавское гетто.

2 марта 1949 г. Казимеж Мочарский вошел в тюремную камеру XI отделения варшавской тюрьмы на Раковецкой, 37. В камере он застал двух немцев, обвиняемых в гитлеровских преступлениях. Одного из них звали Юрген Штрооп. Он был генералом СС, командовал частями СС и полиции Варшавского округа, а также руководил ликвидацией варшавского гетто. Второго звали Густав Шильке; он был профессиональным офицером полиции нравов.

Мочарский же был деятелем антигитлеровского подполья и бойцом Армии Крайовой — вооруженных сил Польского подпольного государства в эпоху оккупации. Его арестовали еще в августе 1945 г. органы польской ГБ по обвинению в принадлежности к антикоммунистической подпольной организации — наследнице Армии Крайовой. В январе 1946 г. Мочарского приговорили к десяти годам тюрьмы. По амнистии срок был снижен до пяти лет.

В ноябре 1948 г. против него начали второе дело — по обвинению в коллаборационизме с немецкими оккупантами с целью совершать убийства лиц, связанных с левыми кругами. Обвинение было абсурдным и гнусным: герою антигитлеровского подполья вменяли в вину позорное деяние — сотрудничество с оккупантом и действия в его интересах. Таким способом аппарат госбезопасности коммунистической власти хотел очернить Армию Крайову. Те, кто сражался за свободную Польшу и избежал гитлеровских тюрем, попали теперь в тюрьмы в Польше, управляемой коммунистами.

Всё отличало Мочарского от сотоварищей по тюремной камере: прошлое и память, жизненная позиция и знакомство с миром. Эти люди еще недавно были его смертельными врагами; они принадлежали к числу тех, кто убивал его родственников, друзей, народ.

В общей камере они провели 255 дней. Мочарский мог бы наконец-то отомстить проклятым оккупантам — мог их оскорблять и унижать. Он предпочел, однако, поговорить.

Между собой столкнулись два мира: мир коммунистической госбезопасности, которая посадила Мочарского в тюрьму и вдобавок в одну камеру с гитлеровским преступником, скрестился с миром Казимежа Мочарского, который даже столь страшное для себя унижение сумел употребить с пользой, совершая нечто бесспорно позитивное.

Это пребывание в камере польской тюрьмы вместе с гитлеровским генералом выглядит символом польской судьбы в те проклятые годы — зримый символ катастрофы, поражения страны, а также унижения и систематического нравственного растрепывания Польши ее коммунистической властью.



В июле 1951 г. варшавский Воеводский суд приговорил Юргена Штроопа к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.

В ноябре 1952 г. варшавский Воеводский суд приговорил к смертной казни Казимежа Мочарского. Приговор не был приведен в исполнение. К счастью.

Казимеж Мочарский родился в Варшаве в 1907 г. в интеллигентской семье, к традициям которой принадлежало активное участие в национально-освободительном движении. В 1932 г. он успешно завершил юридическое образование; учился также в Высшей школе журналистики.

В 1930 г., еще в бытность студентом, Мочарский вступил в «Легион молодых» — организацию, связанную с правящим лагерем Юзефа Пилсудского. Для одних Пилсудский представлялся легендарным воскресителем польского государства, для других — «бандитом» из социалистической партии, лидером либерально-масонского лагеря, наконец — диктатором.

Польша тех лет оказалась очень сильно разобщенной, причем это была разобщенность скорее идейно-культурная, чем партийно-политическая. Лагерь национал-демократии выступал за националистический облик будущей Польши. Лидером национал-демократов (эндеков) был Роман Дмовский, выдающийся политический публицист и литератор, но одержимый навязчивым антисемитизмом. В 1930-е годы эндеки проповедовали идеи «католического государства польской нации», «Польши для поляков». Они не скрывали ни своих симпатий к тому, что сделал в сфере общественного устройства Муссолини, ни презрения к парламентской демократии и либеральным ценностям.

Лагерь Пилсудского («санация») в свою очередь эволюционировал от идеи демократического и либерального государства права к авторитарным решениям. Это порождало конфликты в стане санации, результатом которых были всё новые расколы в «Легионе молодых». В середине 1934 г. Мочарский вместе с группой друзей вышел из «Легиона молодых». Несколько позже они примкнули к «Демократическому клубу», вокруг которого собирались интеллигентские группировки, традиционно связанные с личностью и лагерем Юзефа Пилсудского. Обеспокоенная — после смерти Пилсудского (май 1935) — эволюцией правящего лагеря в сторону националистически-тоталитарных правых кругов, общественность клуба хотела создать либерально-демократическую республику. Организации, входившие в «Демократический клуб», поверили, что вместе с социалистическим и крестьянским движением им удастся создать коалицию, которая преградит путь к тоталитарной диктатуре.

Окружение клуба характеризовалось политической неоднородностью. Там происходили встречи людей, сформированных легендой Пилсудского (среди них имелось немало «вольных каменщиков», т.е. масонов), с представителями антифашистского левого крыла (вплоть до сторонников компартии).

Всех их связывало сознание угрозы со стороны фашизма.

Этого же боялся и Казимеж Мочарский, когда публично провозглашал в октябре 1937 г.: «Положение настолько опасно, что в любую минуту может наступить фашизм».

Демократу тех лет был не по вкусу и большевизм. «Для нас Сталин, — писал в августе 1938 г. еженедельник «Орка на угроже» («Пахота на целине»), связанный с «Демократическим клубом», — стоит ровно столько же, сколько Гитлер, и мы не проводим никаких различий между этими двумя версиями захватнической агрессивности и тирании. Преступление, совершенное по отношению к народу, остается преступлением, невзирая на личность преступника и политическую конъюнктуру; борьба с таким преступлением всегда остается актуальным демократическим императивом».

Сторонники компартии Польши (КПП), ликвидированной Сталиным в 1938 г., наверняка должны были выслушивать подобные мнения со смешанными чувствами. Однако они проглатывали эту антисталинскую ересь, будучи убежденными, что для «Демократического клуба» главный враг — это Гитлер и немецкий нацизм, а вовсе не Сталин и большевизм. Что же касается внутренней угрозы, то демократы видели ее в польских фашистских и полуфашистских поползновениях. Таковые возникали как у крайне правых кругов националистического толка (фашистского Национал-радикального лагеря), так и в рамках правящей группировки (Лагеря национального единения). Лозунгом, которому надлежало склеить и сплотить оба эти — различающиеся по генезису и традициям — сообщества, было презрение к парламентской демократии и антисемитизм.



Демократы напоминали правящему лагерю, что в биографии Пилсудского имелся период революционных, свободолюбивых, демократических устремлений. «Насколько же мелки умом и бедны сердцем те, кто из гигантской фигуры Юзефа Пилсудского делают карлика и сталкивают его в лагерь карликов». Смысл жизни Пилсудского — это «борьба свободных, неподкупных людей за свободную, независимую Польшу, которая отбросила раскованные ею кандалы самодержавия». Поэтому «не надо по образцу эндеков прибегать к чужим примерам, к идеологии Пуришкевича, создателя «Черной сотни», или Гитлера».

Вот что еще писали демократы:

«Верные принципам польских государственных интересов, которые освящены историей Речи Посполитой, национализму мы противопоставляем принцип равенства всех ее граждан, осуждая увязывание каких-либо внутренних решений с понятиями расы, национальности и вероисповедания.

Мы боремся против тоталитаризма и считаем его системой, недопустимой для нас. Такая система правления нацией ведет к ее загниванию, к утрате силы и невозможна без ликвидации гражданских свобод. Памятуя о тех мрачных эпизодах из нашего исторического опыта, которые способствовали упадку государства, развязывая гонения и межконфессиональную борьбу, мы решительно стоим на фундаменте гарантированной государством свободы вероисповеданий, выступая против любых попыток злоупотреблять религией в политических целях».

Комментируя введение в высших учебных заведениях «скамеечного гетто», демократы заявляли, что «это распоряжение явно и отчетливо противоречит действующей конституции, которая обеспечивает всем гражданам Речи Посполитой равные права без различия национальности и вероисповедания».

Казимеж Мочарский, активный деятель «Демократического клуба», обладал непреклонным, строптивым нравом и ни перед кем не гнул шею. Такое он получил политическое образование; такой была его система ценностей. И с таким духовным багажом он вступил в мир антигитлеровского подполья, потом — в мир послеялтинской Польши и наконец — в одну камеру с гитлеровским преступником.

Однажды Мочарский спросил у Штроопа: не было ли ошибкой нацистских генералов то, что они разбрасывались жизнью немецких солдат? Всё ли делал немецкий командир, чтобы достигнуть цели без человеческих потерь?

— У вас либеральная, интеллигентская точка зрения, — отвечал Штрооп. — Если бы я собирался подобным образом расщеплять волос на части, то не провел бы ни единой операции. На войне должна проливаться кровь.

Этот короткий диалог хорошо иллюстрирует духовный мир обоих собеседников. «Беседы с палачом» — это, по мнению Лешека Колаковского, «лучший портрет неподдельного гитлеровца, который до самого конца упорствовал в своем чудовищном кредо; он убежденно считал причиной поражения гитлеровцев в войне тот факт, что они были слишком добрыми и недостаточно решительными в искоренении вредных тенденций внутри Германии».

«В политике отсутствуют нравственные принципы», — декларировал Штрооп. «У меня другое мнение», — отвечал Мочарский, хотя и не подхватывал спор. Да и каким образом препираться с символом веры банального нациста? Если в Гитлере еще имелся какой-то магнетизм зла, то Штрооп был всего лишь мелкой частицей железных опилок, притянутых магнитом. Поэтому — как Эйхман для Ханны Арендт — он наверняка представлялся Казимежу Мочарскому необычным образчиком банальности зла.

Штрооп был прав, когда назвал Мочарского «беспартийным либералом, пропитанным гуманизмом». Нацисты и большевики презирали таких людей...

Рассказывая о подавлении восстания в гетто, Штрооп вспоминал, что приказал не брать пленных, а всех убивать, в том числе и женщин. «Неужели вам никогда не было жаль их молодой жизни?» — спросил Мочарский. Штрооп, чуть подумав, ответил: «Тот, кто хотел тогда быть настоящим человеком, а это означает, человеком сильным, не мог не действовать, как я». После чего процитировал Ницше: «Да будет благословенно все, что делает человека твердым». Таким вот способом нацизм превращал Ницше в идеолога массовых убийств.

Штрооп был убежден, что «велеением патриотических действий является эффективность, а не так называемая мораль». Такому пониманию политики его научили в нацистской партии: «Хорошая солдат-



ская позиция, — характеризовал Штроопа его нацистский начальник в 1943 г. — Политически менее опытен и грамотен; типичный солдат, который действует в соответствии с приказом». «Но хороший мужик», — таким чисто личным замечанием закончил тот свою аттестацию.

Этот хороший мужик с убежденностью повторял нацистские причитания о «позоре Версальского договора», об убожестве Веймарской республики, о необходимости ликвидации парламентаризма. Он верил, что нацистская система порядка и повиновения объединит народ, очистит страну от грязи, возвратит Германии могущество и позволит ей завоевать новое жизненное пространство. И верил, что немцы представляют собой *Heimenvolk* — народ господ, а евреи — это не люди, а недочеловеки, так как «в понимании науки» это почти животные.

Этот хороший мужик, банальный нацист, знал, кто такие враги: враги — это все чужие. Наряду с евреями это еще и социалисты, коммунисты, масоны, либералы, иезуиты и «политизирующее духовенство», а также гомосексуалисты, капиталисты и плутократы, наконец, «группы смутьянов», индивидуалистов и глупцов, которые не понимают, что верность идее, а еще полная концентрация, единоличное руководство и стопроцентное повиновение представляют собой фундамент национального существования. Либерализм всегда ведет к анархии, а воплощением сконцентрированного руководства служит Адольф Гитлер.

Штрооп был обязан Гитлеру всем. Гитлер обеспечил ему внутреннее спокойствие, объяснив: стремиться надлежит к тому, что является здоровым, националистическим и упорядоченным. Гитлер сделал для него возможным такое продвижение вверх — из провинциального города до генеральских регалий, от нищеты к роскоши. «Думаю, — записал Мочарский, — что тогдашний Штрооп — это продукт скрещивания «революционера» с молодым, самонадеянным баринком. Частый симптом у преуспевающего выскочки, на чьих партийных плечах «покоится бремя идеи, народа и государства». (...) У Штроопа начался быстрый процесс деформации, который можно наблюдать там, где имеет место молниеносное улучшение бытовых условий, достигающееся людям со слабым интеллектом, шаткой рассудительностью и не самым твердым характером; их позиция обладает чертами привилегированности и обособления от прежнего окружения».

Служебные автомобили, тайные премии, собственное снабжение, сапожники и портные, собственные больницы, гостиницы, курорты...

Описывая этот механизм, Мочарский наверняка думал то же самое о карьерах коммунистических сановников. Это же типичные черты большевицкого нувориша, которого не интересовали запутанные доктринальные споры марксистов. Он рассуждал ясно и четко: надо слушаться начальников и ликвидировать врагов. Это было очевидным путем и к карьере в аппарате власти, и к материальному достатку, и к специальным гостиницам, курортам, элегантным квартирам, и к магазинам за желтыми шторами [закрытым распределителям].

Нацистский нувориш и нувориш большевицкий верили в формулировку Штроопа, объяснявшего Мочарскому, что «партия слишком деликатна» и что «дураков надо осчастливливать вопреки их первоначальной воле» — «осчастливливать приказом и физической силой во имя правильных идей».

Большевик-чекист верил в Сталина столь же свято, как нацист из СС — в Гитлера. Поэтому Штрооп верил, что Гитлер — посланец высших сил, Вотана и прочих германских богов, а следовательно, непобедим. Штрооп верил, что никому не одолеть Третий Рейх.

И все-таки Третий Рейх проиграл войну.

Войну проиграла и Польша. Она была первым государством, которое воспротивилось требованиям Гитлера, выступив против него. Эта страна проиграла войну с двойной агрессией Гитлера и Сталина в 1939 г., но до конца оставалась членом антигитлеровской коалиции. Польские воинские части сражались на всех фронтах.

Казимеж Мочарский сражался на самом трудном фронте — в период гитлеровской оккупации он был воином Армии Крайовой (АК) и участвовал в подпольной деятельности «Демократического клуба». Он сражался в Варшавском восстании; был награжден за мужество. На протяжении шести лет ежедневно рисковал жизнью.

Как и всё подполье, боровшееся за независимость, он верил, что это героическое сопротивление оккупанту в результате принесет Польше свободу.



Получилось иначе. Польша стала добычей победившего Сталина. Красная армия, вступая в 1944 г. на территорию Польши, рассматривала солдат АК как врага. Советские генералы предлагали переговоры и сотрудничество, после чего бойцов АК бросали в тюрьмы и высылали вглубь России. Перед руководителями антигитлеровского подполья встала дилемма: что дальше? Продолжать ли конспиративную деятельность — на сей раз антисоветскую? Или же искать соглашение со Сталиным и коммунистами?

Эта дилемма обладала аспектом античной трагедии, потому что хорошего выбора в тогдашнюю пору не существовало. Те, кто не доверял словам Сталина и коммунистов, имели на то основание и были правы. Однако из такой правоты мало что вытекало. Сторонников продолжения подпольной деятельности и вооруженного противостояния систематически убивали в операциях по усмирению, проводившихся органами ГБ; их бросали в застенки и нередко приговаривали к смертной казни. Тогдашнее вооруженное сопротивление большевизму диктату поглотило десятки тысяч жертв. Отряды лесных партизан были полны засланной агентуры; осажденные и отчаявшиеся, они часто дегенерировали и вырождались в грабительские банды. Это бросало тень на всю Армию Крайову. Это была дорога в никуда.

Казимеж Мочарский принадлежал к числу тех, кто быстро это понял. После Варшавского восстания он состоял близким сотрудником генерала Леопольда Окулицкого (Медвежонка) — последнего командующего АК. Помогал ему редактировать последний приказ, распускающий АК, который был опубликован в последнем номере «Информационного бюллетеня», самого важного печатного органа подполья. Вот что писал генерал Окулицкий своим солдатам:

«Польша по русскому рецепту — это не та Польша, за которую мы шестой год бьемся с Германией, ради которой пролилось море польской крови, а нам довелось перестрадать всю громадность муки и уничтожения страны. Вести борьбу с Советами мы не хотим, но никогда не согласимся на другую жизнь, кроме как только в полностью суверенном и справедливо устроенном в общественном смысле Польском Государстве. (...) Солдаты Армии Крайовой! Я отдаю вам последний приказ. Свою дальнейшую работу ведите в духе повторного обретения полной независимости государства и защиты польского населения от гибели. (...) В этой деятельности каждый из вас должен быть командиром самому себе. Убеденный, что вы исполните настоящий приказ, что навсегда останетесь верными только Польше, я, преследуя цель облегчить вам дальнейшую работу и действуя по уполномочию президента Польской Республики, — освобождаю вас от присяги и распускаю ряды АК».

Вскоре после этого, в марте 1945 г., Окулицкий был вместе с политическими руководителями подполья приглашен генералом Красной армии на встречу и переговоры. Всех приглашенных посадили в тюрьму, а потом перевезли в Москву, где против них возбудили дело, закончившееся судебным процессом. Окулицкого приговорили к десяти годам лишения свободы; он уже никогда не вернулся в Польшу — обстоятельства его смерти по-прежнему покрыты неизвестностью.

Мочарский остался в подполье, смысл которого сводился уже только к ликвидации военных действий.

Сторонники вооруженного сопротивления верили в близкую перспективу третьей мировой войны. Мочарский в новую войну не верил. И считал, что надо искать другие решения. Поэтому он был сторонником обращения Яна Жепецкого, руководившего подпольем после ареста Окулицкого, который призывал к прекращению лесной партизанской войны. Поэтому же он сообщал с двумя деятелями подполья из кругов «Демократического клуба» составил в июле 1945 г. меморандум для Яна Жепецкого.

Заключительные выводы этого меморандума звучали следующим образом:

- 1) отмежеваться от лондонского правительства Польши и признать его банкротство;
- 2) констатировать в форме приказа, что в нынешней обстановке вооруженная борьба без всякой пользы ослабляет народ;
- 3) а также констатировать, что отряды, остающиеся, несмотря на приказы, в лесу, либо деморализованы войной (и стали бандитскими), либо имеют свои собственные цели, общественные либо политические, которые не имеют ничего общего с АК;

- 4) призвать к «труду на всех участках и направлениях во имя идеалов свободы и независимости».

Такое решение, писали далее авторы, «должно быть принято в момент, наиболее подходящий для этого, то есть после предварительного согласования с правительством (...) Миколайчика».



Смысл этого драматического документа становится ясным только в сопоставлении с другими декларациями национально-освободительных кругов в подполье и эмиграции.

Станислав Миколайчик, лидер крестьянского движения, был с 1943 г., после гибели генерала Сикорского, главой польского правительства в Лондоне. Он был сторонником компромисса со Сталиным и коммунистами — не верил в войну между союзниками. Когда большинство политических кругов отказало ему в поддержке, Миколайчик вернулся в Польшу, став заместителем премьер-министра в правительстве, где доминировали коммунисты. Большинство эмиграции посчитало это изменой; в Польше его встречали и приветствовали с восторженным энтузиазмом. Да и генерал Окулицкий перед своим арестом тоже видел в действиях Миколайчика единственный шанс для Польши.

Однако значительная часть подполья оценивала такие рассуждения как наивность, капитуляцию или вообще акт предательского отступничества. В подпольной прессе писалось, что союзники совершенно не заинтересованы отдавать Польшу Советам, зато заинтересованы в независимости Польши и в нашем освобождении от коммунистов. Это аксиома. Пораженчество всяких иных оценок вырастает из тех предвидевшихся фактических действий, которые совершали Советы. Так писали еще в 1944 году. Через два года подпольная газета провозглашала: «Признаемся откровенно — мы жаждем третьей войны и хотим, чтобы она началась как можно быстрее. Причина в том, что мы предпочитаем короткую и насильственную смерть, а не длительное и медленное умирание. Мы жаждем войны как единственного средства, которое вместо мнимой свободы принесет полякам свободу действительную».

К сожалению, в это время аксиомы переставали быть аксиомами, а героический выбор смерти мог выглядеть решением для героических единиц, но не для всего народа.

Меморандум, подписанный Мочарским, был не актом измены, а актом отчаяния; он был драматическим поиском выхода из безвыходного положения. Летом 1945 г. путь вооруженного сопротивления, повторимся, был дорогой в никуда. К сожалению, каждая попытка искать честной договоренности с коммунистами тоже оказывалась дорогой в никуда. Коммунистов не интересовала договоренность — они признавали только измену и капитуляцию.

11 августа 1945 г., через несколько десятков дней после вручения Жепецкому упомянутого меморандума (содержание которого он с оговорками разделял), Казимеж Мочарский был брошен в тюрьму.

Чуть раньше, 1 августа, арестовали Яна Мазуркевича (Радослава), одного из легендарных командиров АК. «После получения заверений и гарантий, — пишет Гжегож Мазур, историк, исследователь деятельности АК, — о том, что никаких репрессий не будет, Радослав 8 сентября 1945 г. опубликовал в прессе призыв бойцам АК к явке с повинной». Руководитель подполья Ян Жепецкий категорически осудил этот призыв и выпустил приказ, где заявил, что «1) с момента заключения в тюрьму Радослав перестал быть вышестоящим лицом и не имеет права ни заключать договоры или соглашения, ни отдавать приказы; 2) договор, подписываемый заключенным в тюрьму с теми, кто его туда заключил, лишен каких-либо свойств добровольности — трудно установить, какие средства употребили власти безопасности, чтобы склонить Радослава к его подписанию; 3) гарантии и обещания, подписанные чиновником госбезопасности, обладают весьма сомнительной ценностью и могут оказаться всего лишь средством для выявления тех, кто борется за независимость».

5 ноября 1945 г. арестовали Яна Жепецкого. Через полтора десятка часов после ареста, пишет Анджей Хмеляж, историк и знаток эпохи, он пошел по тому же пути, что и Радослав: приступил к раскрытию людей из подполья. Многие из тех, кого он тогда раскрыл, позже угодили на долгие годы в тюрьму. Стало ясно, что с коммунистами невозможно заключать соглашения.

Прошли годы. В декабре 1953 г. сбежал в Западный Берлин подполковник ГБ Юзеф Святло, заместитель директора X департамента министерства общественной безопасности. В одной из тех передач радиостанции «Свободная Европа», которые потрясли верхи коммунистической власти в Польше, подполковник подробно говорил о жертвах сталинских репрессий. В частности, он тогда сказал: «Несмотря на такие ужасные психические и физические страдания, сотни людей не ломаются в ходе следствия. Среди них самое большое сопротивление оказывал Мочарский».

Анджей Щипёрский, автор прекрасного эссе о Казимеже Мочарском и его книге «Беседы с палачом», заметил, что для автора разговоры со Штроопом «были не только попыткой бегства от страшно-го тюремного существования. Они служили также инструментом постижения той действительности,



в которой очутился Мочарский. Изучая закоулки души Штроопа, он косвенно искал знаний о своих гонителях. (...) Мочарский не мог проникнуть в мрачный склад ума тех людей, который его мучили. Но, когда он возвращался в камеру, его ждали недели и месяцы бесед с представителем того же самого племени. Штрооп оказывался alter ego всех этих безымянных, сохранявших анонимность сановников и прихвостней сталинской диктатуры. (...) Он и эти лица не отличались друг от друга».

Щипёрский был прав: они действительно не отличались. В письме Верховному суду, подготовленном в тюрьме в феврале 1955 г., Казимеж Мочарский перечислил 49 разновидностей пыток и истязаний, которым его подвергали в ходе следствия. Приведем для примера: удары резиновой дубинкой по особо чувствительным местам тела (например, по переносице, подбородку и слюнным железам, по выступающим частям лопаток и т.п.); удары кнутом, обтянутым так называемой липкой резиной, по верхней части голых стоп в окрестностях пальцев — особенно болезненная пыточная операция; удары резиновой дубинкой по пяткам — несколько раз в день; вырывание волос с висков и шеи («ощипывание гусей»), с подбородка, с груди, а также из промежности и с половых органов; раздавливание пальцев между тремя карандашами; прижигание раскаленной сигаретой окрестностей рта и глаз; прижигание открытым пламенем пальцев на обеих ладонях; пытка лишением сна в течение семи-девяти дней.

Чему должны были служить эти невообразимые жестокости? Во время процесса в ноябре 1952 г. — а это был классический сталинский процесс, которому предшествовали пытки в ходе следствия, — Казимеж Мочарский заявил, что не признает себя виновным и что следствие проходило в атмосфере террора. В те времена это был непревзойденный акт мужества терзаемого и истязаемого человека, который смотрел смерти в лицо.

Мочарского приговорили к смертной казни. Только в январе 1955 г. ему сообщили, что Верховный суд заменил смертную казнь пожизненным заключением. Свыше двух лет Мочарский каждый день ждал казни. Она была мстью за то, что этот герой АК не хотел признаться в сотрудничестве с оккупантом и тем самым опозорить Армию Крайову.

Советский прокурор, обвиняя генерала Окулицкого в июне 1945 г. во время знаменитого «процесса 16-ти», использовал следующие определения: «фашистский генерал», «фашистский прихвостень». Таков был советский сценарий. Мочарскому надлежало обосновать этот сценарий.

Он не сделал этого. Выдержал.

В 1956 г. на волне «оттепели» и «польского октября» его освободили из тюрьмы, а потом полностью реабилитировали. Он стал символом.

Юзеф Рыбицкий, герой АК и многолетний послевоенный узник, выступая осенью 1975 г. над могилой Казимежа Мочарского, назвал его «человеком без страха и упрека», который боролся в тюрьме «за достоинство Армии Крайовой и за личную честь — не за собственную жизнь». И добавил еще: «Дорогой Рафал, ты достоин наибольшей славы в жизни — то есть легенды». (Рафал — псевдоним Мочарского в АК).

И Юрген Штрооп, и следователи госбезопасности, которые истязали Мочарского, единодушно считали, что мораль должна быть подчинена их политическим целям, иными словами — устремлениям вождя партии, будь то нацистской или большевицкой.

Ян Стшелецкий, социолог и эссеист, участник антигитлеровского подполья, а также тонкий аналитик идеологии и практики сталинизма, анализировал подобный тип тоталитарной аксиологии, оперируя понятием «высшей политической морали». Для «высшей морали» в расчет идет исключительно политическая пригодность и целесообразность. Всё прочее бесполезно либо вредно. Люди «высшей морали» функционируют в состоянии перманентной мобилизации, а критерии полезности они распространяют на все сферы бытия: на культуру и науку, на повседневные человеческие отношения и на религиозную жизнь. Обязательность моральных норм касается только «своих» — да и то в рамках абсолютного повиновения вождю. Либерализм или гуманность — это сентиментальные недоразумения; а диалог с оппонентом, желание найти с ним общий язык есть результат заблуждения, умственной аберрации.

Мир «высшей морали» делится на своих и чужих, на врагов и друзей. Не существует никакого пространства совместных ценностей — есть только одна истина, и мы ее обладатели.

Тем самым, писал Ян Стшелецкий в 1946 г., «всякое неинструментальное отношение к человеку



обращается в ничто. Человек чего-нибудь стоит исключительно в том случае, когда он для нас полезен. Если нет возможности употребить его в качестве орудия, инструмента, то его начинают подозревать во враждебности».

Людей «высшей морали» характеризует, продолжал Стшелецкий, «стремление упразднить авторитет людей, которые в своем чувстве ответственности связаны с наличием нравственных ценностей, общих для представителей обеих сторон». Люди «высшей морали» видят угрозу в таком авторитете. Суждением врага можно пренебречь, но суждение того, кто повсеместно воспринимается как человек честный, объективный и независимый, «нарушает абсолютную уверенность» людей «высшей морали». Поэтому в основополагающих нравственных критериях они видят хитроумный подвох врага — классового, национального или религиозного. По той же причине к подобного рода врагу надлежит внушить отвращение, а его самого уничтожить.

Что и совершалось в Польше, подвергнутой такому испытанию, как правление людей с разного рода «высшей моралью». (Я здесь вспоминаю эссе Яна Стшелецкого, написанное вскоре после заключения Казимежа Мочарского в тюрьму.)

Нацист, даже самый банальный, нутром чуял, что христианство представляет собой преграду нацизму, которую невозможно преодолеть. Нельзя было оставаться честным христианином и вместе с тем быть полноценным нацистом. Поэтому Штрооп, католик по рождению и воспитанию, пришел к выводу, что в какой-то момент своей нацистской карьеры должен покинуть Церковь. Он был не в состоянии примирить церковные догмы с догмами нацизма. Дело в том, что ему открылась «правда о зловещей роли католической Церкви в Германии». Это открытие, рассказывал он Мочарскому, «вернуло нас к подлинным германским богам, напомнило о чистых прагерманских обычаях и разоблачило гнилость иудео-христи-анских моральных и организационных вериг, которые опутывали организм Рейха на протяжении двенадцати столетий». «Католическая Церковь, — объяснял Штрооп, — это всемирное и при этом максимально глубоко законспирированное сообщество, клика, монашеский орден и федерация разнообразных группировок, которые с виду находятся между собой на ножах». Гиммлер говорил Штроопу в 1943 г., будто «располагает вещественными доказательствами тесного сотрудничества членов узкого штаба папства с самым законспирированным руководством масонов».

Христианство, по мнению Штроопа, — «не только комплекс религиозных взглядов, пропитанных иудаизмом, но и институт, возникший и учрежденный по еврейскому внушению».

— А Христос? — спросил Мочарский.

«Христос очень умный человек, — пояснил Штрооп. — Философ, математик. В расовом отношении — полунордическая личность. Его мать прислуживала в храме и пользовалась поддержкой важного духовного лица. Она забеременела от белокурого германца, одного из воинов германских племен, странствовавших по маршруту, который вел на юг, вплоть до Малой Азии. Поэтому Христос был блондином и психически отличался от евреев, которые «подстригли и причесали» его учение, прикроили к своим целям, а потом выпустили на международный рынок, чтобы оподлеть и размягчить человека путем внушения ему чувства веры».

Мочарский слушал это рассуждение, буквально ошеломлен. «Какую-то минуту мне казалось, — записал он, — что я ничего в жизни не знаю, ничего не усвоил».

Штрооп уже после войны, когда содержался в заключении, познакомился со священником Ротом, иезуитом, узником Дахау. Сразу же после обретения свободы тот занялся организацией помощи находящимся в тюрьме нацистам, в том числе и Штроопу. Как бывшая жертва концлагеря, Рот пользовался доверием у союзников.

Штрооп испытывал к монаху искреннюю благодарность. Однако не понимал его.

Однажды он спросил Рота, за кого тот молится. И услышал: «За всех жителей мира». Изумленный Штрооп попытался: «Неужто за евреев и монголов так же, как за Черчилля и Сталина?» На это отец Рот отвечал: «За всех людей без исключения, а особенно за тех, которые нуждаются в помощи».

Штрооп не скрывал изумления. «Этот человек, — объяснял он Мочарскому, — молился за слабых, побитых, униженных и удрученных. А ведь только сильные достойны обожания. Молиться надо за триумфаторов».



Два мира, два представления об иерархии человеческих ценностей столкнулись еще раз. С одной стороны — мир, который верит в силу, обожает ее и преклоняется перед нею; с другой — мир, который верит в главенство добра и правды, жалости, сочувствия и им хочет сохранить верность.

Однако является ли верность абсолютной ценностью? Штрооп повторял, что «верность есть качество настоящего человека»; на клинке его эсэсовского кинжала была выгравирована надпись: моя честь — это верность.

Мочарский спросил у Штроопа: «Вы говорите о верности. Это завидное и редко встречающееся качество. Но кому надлежит быть верным? Каждому человеку, каждой идее, каждому делу? И хорошо ли получилось, что лично вы сохраняли верность людям, которые привели вашу страну к катастрофе?».

Штрооп ответил избитыми нацистскими формулировками: «Мы проиграли войну лишь потому, что интриги реакционного англосаксонского, еврейского, коммунистического, масонского и католического интернационала разрывали наш народ изнутри. Рейх сумели разбить только с помощью какой-то части немецкого общества, всяких канарисов, герделеров, штауффенбергов. Надо было их крепче держать за морду».

В другой раз он уточнял: «Мы всегда были слишком терпимыми и неосторожными, потому что позволили дегенератам жить под одной крышей со здоровой массой народа. (...) Надо было нам раньше проводить ликвидацию. Резать выродков ножами и вешать на крюках...».

«Я слушал, охваченный ужасом», — запомнил Мочарский.

Он не мог не испытывать ужаса. В рамках его традиций такие заявления были невообразимы. Он знал, что в истории Польши случались жестокости и гнусности, но никто этим не гордился и не выставлял их образцом для подражания.

Казимеж Мочарский был детищем традиций ягеллонской Польши, государства без костров инквизиции и без ее судилищ, государства веротерпимости, государства многих народов и многих культур. У истоков ягеллонской Польши находился акт Городельской унии. К этому акту, к его формулировкам обращались те, кто не хотели примириться с приговором, который вынесли Польше в Тегеране и Ялте; те, кто не хотели признавать право сильного и защищали определенную концепцию польского духа.

В акте Городельской унии написано:

«Не познает благодетельно спасения тот, кто на любви не станет зиждиться. Токмо одна любовь не действует втуне: лучезарная сама по себе, она гасит зависть, убавляет обиды, дарует всем мир, связует разделенных, подымает падших, разглаживает неровности, спрямляет кривизны, поддерживает каждого, не оскорбляет никого, и всяк, кто укроется под ее крылами, найдет себя в безопасности и не убоится ничьей угрозы. Любовь творит законы, правит королевствами, закладывает города, а кто ею пренебрежет, тот все утратит. Посему и мы все, здесь собравшиеся, желая отдохновения под щитом любви и преисполненные священным к ней чувством, сииим документом заявляем, что сочетаем и связуем наши дома и семьи...».

Этот документ должен был декретировать польскую концепцию жизни. Дерзким и неумным было бы утверждение, будто поляки именно так и жили. Никакой народ не жил таким способом. Суть в том, что поляки сами себе сформулировали именно такой идеал — и он на века засел в польском сознании или же подсознании. Поляки признали это — в важный момент своей истории — идеалом достойной жизни. И в трудные минуты прибегали к приведенной декларации. Идеал любви — пусть даже нереалистический — представляет собой отрицание практики ненависти и жестокости.

Казимеж Мочарский, сын ягеллонской Польши и один из создателей этики «Демократического клуба», непременно должен был иметь такой идеал в качестве стержня своей системы ценностей и принимаемых решений. Весной 1946 г. он не мог не помнить, что должен оставаться верным образу ягеллонской Польши, присяге, товарищам по подполью. Все это было трудно примирить.

Мочарский хорошо знал мрачные тайны подполья. И наверняка помнил, что в подпольной прессе наряду с антитоталитарными, благородными и мудрыми текстами появлялись и иные. Такой была цена свободы в подполье.

Посему он безусловно должен был знать, что писалось в июле 1942 г. одной из подпольных газет: «Мир либерально-демократических идей сходит в могилу (лишь бы ему не оставить после себя потомства), а вместе с ним приходит конец и представляющим его людям, последним могиканам тех



лозунгов и форм, которые для человечества оказались вредными. После нынешней войны не возродятся идеи либерализма и демократии; потеряют свою величавость такие эффектно блистающие, но надутые пустотой словеса, как: человечество, парламентаризм, свобода личности и т.п. Реализм жизни не позволит, чтобы она базировалась на фикциях». Мочарский мог не сомневаться, что автор этого высказывания среди последних могикан видел и его. Непременно должен был знать Мочарский и другой голос из подпольной прессы, на сей раз — на тему немцев. «На польской земле, — писала в июне 1942 г. одна из газет, — не найдется места ни для вражеского германского племени, ни для его памятных знаков, монументов и могил. Мы уничтожим и запашем их кладбища и обособленные могилы. А также выбросим с наших кладбищ все немецкие трупы».

Да ведь это же нацистский язык, язык Юргена Штроопы...

Можно предполагать, что Мочарский читал в подпольной прессе и мнения на тему евреев. Хотя бы такое, относящееся к январю 1943 г. и напечатанное за три месяца до ликвидации варшавского гетто: «Свою ненависть к Польше и полякам евреи выказывали испокон веков и непрестанно. Евреи в Польше всегда работали в ущерб нашей родине, ненавидя ее и нас. А поэтому после теперешней войны, хоть количество евреев чрезвычайно уменьшится, мы должны будем сразу же занять по отношению к ним отчетливую позицию. Земля не сможет находиться в еврейских руках. Аналогично и промышленность, а также такие пропагандистские средства, как пресса, кино, книгоиздательство. В торговле и свободных профессиях для евреев должна обязательно действовать по меньшей мере процентная норма. Если евреям это не понравится, то дорога в Палестину открыта. Только вот вывозить польские деньги будет нельзя».

Нетрудно представить себе впечатления Мочарского после прочтения таких статей. Когда он летом 1945 г. писал в меморандуме для Жепецкого о «диком антисемитизме» в антисоветском подполье, то знал, о чем пишет.

И, наконец, Казимежу Мочарскому были прекрасно знакомы проскрипционные списки, составленные крайне правыми националистическими и антисемитскими кругами. В этих списках перечислялись фамилии лиц, связанных с Бюро информации и пропаганды (БИП) Главного командования АК. В одном из них были фамилии Яна Жепецкого, Ежи Маковецкого и Людвика Видершала; в другом — Александра Каминского и Ирены Сендлер. Всех их надлежало подозревать в прокоммунистических симпатиях или еврейском происхождении. Одна из подпольных газет крайне правого толка оповещала, что «в БИП преобладают люди, связанные с иностранными агентствами».

То был смертный приговор. И в июне 1944 г. этот приговор привели в исполнение, уничтожив Ежи Маковецкого, руководителя отдела информации БИП, а также Людвика Видершала, сотрудника того же отдела. Оба были хорошими знакомыми Мочарского. Мочарский провел подпольное расследование и обнаружил виновников коварного убийства из-за угла.

Иначе говоря, Казимеж Мочарский прекрасно знал, что антигитлеровское — а потом и антисоветское — подполье имело далеко не одно имя.

Верность. Чему верность? Кому верность? Такие вопросы обязан был задавать себе Мочарский весной 1945 года. Он отверг тогда долг верности польскому правительству в Лондоне. И взывал к Жепецкому о необходимости признать поражение проводившейся до сих пор политики, а также «отмежеваться от лондонского правительства».

Можно бы сказать: Мочарский выбрал верность здравому смыслу и реалистическому суждению, а не тому политическому лагерю, который потерпел полный крах. Он выбрал политическую переориентацию, а не — как сам называл это в меморандуме — «окопы Святой Троицы». Не он один сделал аналогичный выбор.

Однако для тысяч солдат АК это в любом случае было трагической альтернативой: они выбрали между смертью в лесной партизанской войне после отказа от явки в органы и смертью в подвалах ГБ после такого саморазоблачения. Ранний арест уберег Мочарского от подобного выбора со всеми его нравственными последствиями. За него выбрала госбезопасность. Поэтому, находясь в тюрьме и отданный палачам на пытки, он, не имея уже другой возможности выбирать, кроме выбора между спасением жизни и спасением чести АК, — выбрал верность своей организации и товарищам по оружию.



Почему Мочарский сделал такой выбор? Внешне ответ на этот вопрос кажется очевидным. Потому что был героем, которого не могла раздавить тоталитарная машина большевизма. Однако же я все время спрашиваю самого себя: откуда он брал эту духовную силу и эту убежденность в том, что есть смысл так страшно страдать?

Из того, что писал Мочарский, не вытекает, чтобы эту силу сопротивляться давала ему, как столь многим иным, религиозная вера, — скорее он был религиозно равнодушным.

С другой стороны, известно, что сам он не считал себя человеком, скроенным так, чтобы стать героем; его геройство прикрывалось юмором, доброжелательностью к миру, отсутствием пафоса, скромностью и простотой в контактах с людьми.

Поэтому я думаю, что Казимеж Мочарский был носителем некоего особого качества, той вполне определенной и самобытной этики, которую Стефан Жеромский называл «увечьем» польского духа.

Штрооп, писал Мочарский, «был не в состоянии понять или ощутить некоторые позиции и практику польского общества, например, вопрос терпимости вообще, а религиозной терпимости в особенности».

«Выходит, вы, — спрашивал Штрооп у Мочарского, — танцевали и сообща развлекались с протестантами, кальвинистами, евреями, православными? И родители позволяли вам такое? Священники и воспитатели не протестовали?»

— Такими были традиционные польские обычаи, — объяснил Мочарский.

— В Германии, — констатировал Штрооп, — с иноверцами не поддерживалось близких контактов. У вас, поляков, — продолжал он, — терпимость на самом деле сидит в крови. Терпимость, но и своеобразная анархия. Поляки — необычайно странный народ. Монархия была здесь республикой, шляхта принимала решения о государственных делах на сеймиках, а поляки всегда устраивали заговоры против центральной власти, создавая конфедерации. Вы слишком большие индивидуалисты, у вас имеется неудержимая жажда личной свободы, словно у птиц. Стремясь к свободе в любой сфере, вы просто обязаны руководствоваться терпимостью, это понятно. Однако не слишком ли много свободы вам хочется? Народ обязан быть дисциплинированным, послушным и уважающим власть...

— Но не чужую! — гневно ответил Мочарский. — А свою должен еще и контролировать. Таким вот образом высказывал Казимеж Мочарский кредо польского демократа.

Во время разговора о немецкой демократии после катастрофического поражения Третьего Рейха Штрооп не скрывал отвращения.

— Вы не любите свободу? — спросил Мочарский.

Штрооп отвечал:

— Таковую? Не люблю.

Мочарский:

— Ну, вот вы и сидите в каталажке.

Штрооп:

— Вы тоже.

— Но я ценю любую свободу, — ответил Мочарский.

И таким путем дополнительно уточнил эту особую польскую этику.

Этику Городельской унии, этику Яна Стшелецкого, этику Иоанна Павла II.

Мои личные отношения с Казимежем Мочарским были очень слабыми. Я познакомился с ним на склоне его жизни. И не смею формулировать собственные оценки на основании нескольких разговоров. Мне запомнил шуточный обмен мнениями о моковтовской тюрьме — пан Казимеж знал, что через много лет после его геенны я провел там изрядный кусок времени. До чего ж, однако, колоссальными были различия! Ничто не может сравниться со страданиями Казимежа Мочарского.

Пан Казимеж не был педантом моралистики — полагаю, ничто человеческое не было ему чуждо. Поэтому он был снисходительным. Этот человек, который героически вынес и пережил ад гитлеровской оккупации, а потом муки сталинской жестокости, умел проявлять снисхождение к тем, кому не хватило закалки и стойкости.

Его уроки мягкости, терпеливости и снисходительности запомнились мне на всю оставшуюся жизнь.

Однако снисходительность не означала слепоты по отношению к добру и злу. Пан Казимеж великолепно ощущал границы, отделяющие слабость от подлости, ошибку от низости; он знал, каким образом отличить то, что неуместно, но простительно, от вешей, целиком и полностью непростительных.



Поэтому он всегда состоял в споре с людьми «высшей морали» — если сослаться еще раз на определение Яна Стшелецкого, — которые отрицали существование основополагающих нравственных критериев, а человека низводили до роли инструмента в реализации собственных политических целей.

Казимеж Мочарский имел дело с такими людьми на протяжении всей жизни. Поэтому в независимой Польше и в годы оккупации, в сталинской тюрьме и в годы ПНР он знал, не мог не знать, что никогда не существовало некой единственной польской этики. Те, кто держал его в тюрьме и подвергал пыткам, тоже были поляками, хотя властные полномочия держать людей в тюрьме и подвергать пыткам они получили благодаря тому, что их наделили ими из-за рубежа. Поляками были и те, кто во Второй Речи Посполитой провозглашали фашистские лозунги, выдвигали требования о диктаторском государстве и дискриминации национальных меньшинств, устраивали в университетах скамеечное гетто и разбивали еврейские лотки и ларьки. Равно как и те, кто перенес свои тоталитарные наклонности и антисемитские фобии во времена оккупации и в антигитлеровские подпольные организации; те, на ком лежала ответственность за убийства политических друзей Казимежа Мочарского.

Это тоже была — отвратительно отличающаяся, но все-таки польская этика.

Эти два вида польской этики вели между собой спор — зачастую жестокий и бескомпромиссный — о форме польского духа, о Польше. Казимеж Мочарский участвовал в таком споре на протяжении всей своей жизни. Поляки неоднократно, уже в 1933-1939 гг., задавали себе вопрос о гитлеризме. Потому ли он плохой, что немецкий и антипольский? Или же он плохой и антипольский — потому что тоталитарный? Иначе говоря, заключается ли плохая, злая сущность нацизма в его немецкой принадлежности или в его тоталитаризме?

«Беседы с палачом» дают ясный ответ на эти вопросы. Потому-то Мочарский стоял на стороне парламентской демократии и прав человека, выступая против диктатуры и всяческих форм фашизма; стоял на стороне терпимой и открытой Польши, выступая против национализма, польской мегаломании, против фальши, лицемерия и культурной замкнутости. Он активно участвовал в политических выступлениях, чтобы тем самым стремиться к такой Польше, Польше людей, свободных от ненависти и полных благородного бескорыстия, Польше непокорных душ.

Постскриптум

Книга Казимежа Мочарского, опубликованная впервые в 1977 г., представляет собой документ, бесценный для историка. И, как всякий документ — таков уж канон профессии историка, — подлежит критике. Историк должен спросить: сколько здесь записей, фиксирующих фотографическую память автора, а сколько попыток обогатить свое повествование на основе других источников? Мочарский открыто пишет, что в работе над книгой прибегал к другим источникам и вплетал знания, полученные таким путем, в свой рассказ. Михал Борвич, писатель и историк, беглец из гетто и офицер АК, в своей рецензии — кстати говоря, положительной — обратил внимание на те фрагменты книги Мочарского, которые относятся к восстанию в варшавском гетто. Он посчитал невозможным, чтобы Штрооп обладал до такой степени подробными сведениями и мог перечислять, какое количество пистолетов, винтовок, гранат или взрывателей к минам передала АК на рубеже 1942-1943 гг. Еврейской боевой организации.

Борвич обратил также внимание на слова Штроопа об участии многих «арийцев» в боях, проходивших в гетто. Никакие исторические источники этого не подтверждают — источники сообщают только об отдельных попытках, немногочисленных и весьма спорадических. Впрочем, в тогдашних условиях и не могло быть иначе.

Историк знает, что каждому сообщению о событиях предшествует осуществляемый памятью отбор фактов. Человеческая память — разумеется, селективная — отсеивает всё, что представляется достойным запоминания, от вещей, которые несущественны. То же самое справедливо и применительно к памяти Казимежа Мочарского.

РЫШАРД КРЫНИЦКИЙ

НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ КАЗИМЕЖА МОЧАРСКОГО

Одинаково светит луна и для поэта,
и для душегуба



Следует добавить, что Мочарский помнил о существовании цензуры. Это объясняет причину отсутствия в «Беседах с палачом» катынского преступления или политики Сталина. А ведь и такие темы должны были появиться. В книге нет также упоминаний об истязаниях и пытках, которым подвергали Мочарского.

Наконец — имеет смысл напомнить контекст, современный книге. Мочарский заканчивал писать «Беседы» в 1968 г. — как раз тогда (июнь 1968) в еженедельнике «Политика» появился их первый фрагмент. Годом раньше прошла «шестидневная война» на Ближнем Востоке. Антисемитское крыло ПОРП использовало ее как повод к антисемитской истерии. Мочарский работал тогда в газете «Курьер польский». В результате доноса одного из журналистов — тот описал частный разговор, в котором Мочарский осудил антисемитизм властей, — автора «Бесед с палачом» практически вышвырнули с работы.

Его протесты остались безрезультатны. Над Польшей веяли уже совсем иные политические ветры. В 1968 г. антисемитская кампания достигла апогея. Ее итогом стала широкая огласка и международный скандал. В еврейских кругах ожили и усилились антипольские настроения. А в общественном мнении демократических государств закрепился стереотип «Польша — антисемитской страны». Вину за политику коммунистической власти возложили на весь народ.

В этот момент у каждого польского демократа в подсознании было два желания: выразить сопротивление тем антисемитским стереотипам среди поляков, которые им заново привил коммунистический режим, и противиться стереотипу поляка-антисемита за рубежом. Обе эти разновидности сопротивления я отыскал — скрытыми в повествовании — на страницах книги Мочарского.

Наконец — часто человек запоминает то, что ему нравится помнить, все, что вселяет бодрость в его сердце и придает силы. Поэтому в «Беседах с палачом» Мочарский рисует другой, благородный портрет евреев и другой, благородный портрет поляков. Из новейших исследований в области истории известно, что оба эти портрета сильно идеализированы.

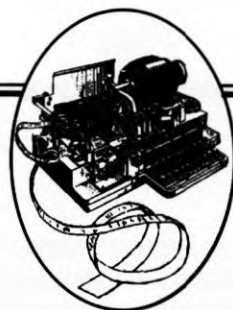
Книга Мочарского — это свидетельство тюремных разговоров со Штроопом. Она служит также свидетельством реакции автора на позор антисемитизма в Польше в 1968 году.

Оба эти свидетельства заслуживают высочайшего уважения.

gazeta
Polska

Я пользовался, в частности, следующими книгами на польском языке: Казимеж Мочарский. Беседы с палачом. Знак, 2004; Казимеж Мочарский. Записки. ПИВ [Госиздат], 1990; Анджей Кшиштоф Кунерт. Обвиняемый Казимеж Мочарский. Варшава: Искры, 2006; Адольф Эйхман. Кумиры. Воспоминания из камеры смерти. ЕЖВ, 2001; Марек Галензовский. Верные Польше. Выбор текстов. Публицистика пилсудчиков. 1940-1946. Изд. Института Юзефа Пилсудского, 2007; Иоанн Павел II. Паломничества на Родину: 1979-1997. Выступления, проповеди. Знак, 1997; Томас Манн. Мои времена. Эссе. Познанское изд-во, 2002; Ян Жепецкий. Воспоминания и исторические заметки. Читательник, 1984; Ян Штелецкий. Продолжения. ПИВ, 1969 (и последующие издания); Анджей Хмеляж и др. Армия Крайова. Очерки по истории Вооруженных сил Польского подпольного государства. Ред. Кшиштоф Коморовский. Ритм, 2001.

Публикуемый текст — сокращенное вступление к первому итальянскому изданию «Бесед с палачом» Казимежа Мочарского. По-русски главы из книги печатались в журнале «Знамя», 1987, №5.



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

■ «Президент Лех Качинский назначил дату выборов в Европарламент на 7 июня. Польша будет избирать 50 депутатов. Предвыборная кампания начинается в день обнародования президентского указа о проведении выборов и продлится до 5 июня. С 23 мая избирательные комитеты могут размещать бесплатную рекламу на государственном телевидении и радио». (*«Наш дзенник», 10 марта*)

■ Согласно опросу ЦИОМа, проведенному 9-15 января, целых 82% поляков считают, что смена государственного строя в 1989 г. была полезна для Польши. Недовольство выражают только 8%. 56% опрошенных считают, что преобразования принесли людям больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживаются лишь 12% поляков. (*«Газета wyborcza», 20 февр., «Впрост», 1 марта*)

■ Генерал Войцех Ярузельский: «Возможно, я шел к пониманию этого слишком долго, но я уверен, что сейчас Польша занимает свое место, что она такая, какой должна быть, а самое главное — что она включена в интегрированную европейскую политико-экономическую систему». (*«Политика», 14 февр.*)

■ «По сравнению с 1989 г. польский ВВП увеличился на 70%. Двадцатилетие с момента начала преобразований склонило экономистов к сравнениям. Например, в 1989 г. на среднюю зарплату можно было купить 1154 буханки хлеба, а в 2007 г. — 1695 буханок». (*«Впрост», 1 марта*)

■ «11 миллиардов злотых на инвестиции. Таков план 16 крупнейших городов на этот год. Это на 3,5 миллиарда больше, чем в 2008 году». (*«Жеч-посполита», 27 февр.*)

■ По данным компании «Седляк и Седляк», в 2007 и 2008 гг. средняя зарплата в злотых до вычета налогов составляла в отдельных отраслях соответственно: в телекоммуникации — 4000 и 5500; в информатике — 4500 и 5100; в банковском деле — 3800 и 4900; в энергетике — 3350 и 4500; в строительстве — 3300 и 4200; в тяжелой промышленности — 3500 и 4200; в легкой промышленности — 3200 и 4116, в охране окружающей среды

— 2700 и 3600, в торговле — 2750 и 3500, в сфере услуг — 2800 и 3500, в государственном секторе — 2330 и 2900, в здравоохранении — 2100 и 2800, в науке и образовании — 2121 и 2522. (*«Впрост», 1 марта*)

■ Главное статистическое управление (ГСУ) провело сравнительный анализ средних зарплат до вычета налогов в государственном и частном секторах с первого по четвертый квартал 2008 года. В промышленности они составили соответственно 4037 и 2955 злотых, в строительстве — 3109 и 3314, в торговле и ремонтных услугах — 3433 и 2927, в образовании — 2978 и 2945, в здравоохранении и социальном обеспечении — 2909 и 2545, в целом — 2323 и 2776 злотых. (*«Впрост», 1 марта*)

■ «Новый рекорд: в 17-м финале Большого оркестра праздничной помощи собрано более 40,4 млн. злотых. Это на 8 млн. злотых больше, чем в прошлом году (...) В ходе 17-го финала 120 тыс. добровольцев собирали деньги на раннюю диагностику онкозаболеваний у детей». (*«Газета wyborcza», 27 февр.*)

■ «Государство продолжает играть ключевую роль в распоряжении публичными деньгами. Почти 45% нашего ВВП проходит через государственный сектор, центральный бюджет, бюджеты органов самоуправления, разнообразных фондов и агентств (...) По доле публичных расходов в ВВП Польша занимает место в самой середине списка европейских стран. Однако она намного беднее и может себе позволить гораздо меньше». (*Агата Новаковская, Доминика Велёвейская, «Газета wyborcza», 21-22 февр.*)

■ Организация «The Conference Board» («Performance 2008. Productivity, Employment and Growth in World's Economies») сравнила производительность труда в 2007 г. (ВВП, производимый одним человеком за час, в долларах) и рост производительности труда в 2008 г. (в процентах). В США эти показатели составляют соответственно 51,1 и 1,7%, во Франции — 51,3 и 0,9%, в Германии — 49,2 и 1,1%, в Испании — 37,1 и 0,1%, в Словакии — 27,9 и 5,7%, в Чехии — 24,2 и 3,8%, в Польше — 20,3 и 3,5%. (*«Впрост», 1 марта*)



■ «По мнению экспертов Всемирного банка, в группе новых членов ЕС нет такой страны, в которой ситуация в налоговой и финансовой сфере обстоит бы так же хорошо, как в Польше». (*«Жечпосполита»*, 21-22 февр.)

■ «По данным ГСУ, в четвертом квартале 2008 г. польский ВВП вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (...) Рост ВВП означает, что, в отличие от экономики западных стран, польская экономика не находилась в четвертом квартале в состоянии технической рецессии (падение ВВП в течение двух кварталов подряд)». (*«Газета wyborcza»*, 3 мая)

■ «Международные рейтинговые агентства, оценивающие финансовую устойчивость стран и их платежеспособность по долгам, выставляют Польше высокие оценки. Среди стран нашего региона лишь Чехия оценивается так же высоко. Высокую платежеспособность имеет также Словакия, но здесь дополнительным фактором стало вступление в зону евро. «Финансовая устойчивость Польши в регионе очень высока, и мы продолжаем утверждать, что ваша страна устоит перед кризисом», — говорит Кристин Линдоу аналитик агентства «Moody's». Правда, он признаёт, что экономический рост в этом и следующем году может быть немногим больше нуля, но на фоне других стран региона наше положение и так весьма стабильно (...) Вчера евро подешевело почти на 10 грошей, в то время как его курс по отношению к форинту был самым высоким в истории (...) На варшавской бирже индекс крупнейших компаний WIG 20 вырос на 4%, а венгерский индекс Вух упал на 2,4%». (Мирслав Кук, *«Жечпосполита»*, 5 марта)

■ «Взвешенные решения могут частично защитить экономику стран с крепкой экономической основой. Чехия и Польша избегали кредитомании в ее худшем варианте и привлекали прямые инвестиции, часто в экспортные отрасли, которые не могут свернуть свою деятельность из-за малейшей трудности. Их экономика прошла трансформацию от коммунистической до рыночной, опираясь на принципы права. Однако из-за глобального кризиса и они переживают замедление роста, рост безработицы. В этом году польский злотый потерял по отношению к евро 15%. Чешская крона тоже падает». (Фрагмент редакционного комментария *«Уолл-стрит джорнэл»*, *«Дзенник»*, 3 марта)

■ ««Мы не исключим гадалки из списка профессий. Есть профессия ученого, есть и гадалки», — таков был ответ пресс-секретаря министер-

ства труда Божены Дябы на письмо ученых, протестующих против включения гадалки, астролога и экстрасенса в список профессий». (*«Дзенник»*, 27 февр.)

■ По данным министерства труда, в феврале безработица выросла до 10,9%. Без работы остаются 1,719 млн. поляков. Число новых предложений работы уменьшилось — в феврале их было 64 тыс., на 3,2 тыс. меньше, чем в январе. (*«Дзенник»*, 12 марта)

■ «Перед лицом кризиса поляки становятся более солидарными. Большинство согласно на снижение зарплаты, чтобы сохранить работу для себя и других. Согласно опросу ГФК «Полония», каждый второй поляк (53%) не протестовал бы против снижения зарплаты, если бы это помогло сохранить рабочее место. Противоположного мнения придерживаются 35% опрошенных (...) На нескольких предприятиях сотрудники согласились на снижение зарплат (...) Поляков спросили также, на чем правительство должно экономить в первую очередь. Респонденты считают, что прежде всего экономить следует на правительственной администрации, а затем на национальной обороне и спорте». (*«Жечпосполита»*, 24 февр.)

■ «Еще год назад на работу за минимальную зарплату (менее тысячи злотых на руки) поляки устраивались лишь в крайних случаях. На таких условиях работало всего около 4% занятых поляков, так как на рынке труда были более привлекательные предложения (...) А сегодня? Работа за тысячу или тысячу с небольшим становится желанной находкой». (*«Газета wyborcza»*, 4 марта)

■ «Как сообщила исследовательская компания «Нильсен», в прошлом году с рынка исчезло около 7 тыс. маленьких продовольственных магазинов. Это самое большое число магазинов, исчезнувших с рынка за последние годы (...) В прошлые годы экономический рост больше всего помог сетям гипер- и супермаркетов, а также оптовых магазинов. Число крупнейших магазинов за последний год выросло на 9%, до 267, а супермаркетов на 10% — их уже больше 3,9 тысяч (...) Несмотря на то что мы идем в ногу с мировыми тенденциями (...) у нас действует 150 тыс. продовольственных магазинов, что является самым высоким результатом в Старом Свете». (*«Жечпосполита»*, 7-8 марта)

■ «Ты начал ощущать кризис? Всё слишком дорого? Жаловаться можно по-всякому (...) Например, о своих претензиях к жизни можно спеть. Так будет



в Гданьске, где при Балтийском центре культуры создан «Хор жалоб» (...) «Хор выступит на одной из главных улиц города, — сообщает Магда Захшевская-Дуда из Балтийского центра культуры, — мы хотим, чтобы его слышали жители города и власти». (*«Газета wyborcza»*, 5 марта)

■ «Вчера наша валюта (...) начала расти. Это произошло благодаря миллионам евро, которые министерство финансов обменяло на злотые. Вчера вечером евро стоил 4,77 злотых, а швейцарский франк — 3,23 злотых. Днем раньше обе эти валюты были по меньшей мере на 10 грошей дороже (...) Какая сумма была обменена? Министерство финансов набрало в рот воды. Неофициально говорится о суммах от 100 до 300 млн. евро. Этого, впрочем, хватило, чтобы расти начал не только злотый, но и биржа (...) Вчера Варшава была сильнейшим рынком в Европе». (*«Дзенник»*, 19 февр.)

■ «Один из крупнейших инвестиционных банков «Голдман Сакс» объявил, что больше не будет спекулировать польскими злотыми». (*«Дзенник»*, 20 февр.)

■ «Совет монетарной политики четвертый месяц подряд снижает процентные ставки. Вчера он снизил главную ставку на 0,25% — до 4% (...) Решение совета продиктовано набирающим силу замедлением экономики, о чем свидетельствует почти 15-процентное падение промышленного производства и рост безработицы до 10%». (*«Дзенник»*, 26 февр.)

■ «Банк «Голдман Сакс» дает объяснения по поводу операций со злотыми. В специальном коммюнике он утверждает, что его рекомендации клиентам были неправильно истолкованы СМИ как признание в спекуляции польскими злотыми. Коммюнике было опубликовано менее чем через сутки после отмены министром казначейства Александром Градом встречи с представителями банка. Правда, его содержание было довольно туманным». (*«Дзенник»*, 24 февр.)

■ «Александр Дибелиус, президент банка «Голдман Сакс», ответственный за Центральную и Восточную Европу, выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и заверил, что банк не спекулировал польской валютой (...) Встреча министра казначейства Александра Града с представителями банка состоялась в Варшаве по инициативе банка (...) «Голдман Сакс» признал, что на операциях с валютами региона заработал 8%». (*«Жечпосполита»*, 4 марта)

■ «В пятницу злотый то падал, то наверстывал упущенное, а вечером вернулся на исходную позицию, т.е. 4,72 за евро. Тем не менее, на фоне расшатанного и непредсказуемого региона, а особенно тонущей Венгрии, польская валюта выглядит солидно. Инвесторы снова смотрят на нее с интересом, перестав наконец валить злотый в одну кучу с валютами стран, которые справляются с кризисом хуже, чем Польша. Хорошие новости поступили также из Польского национального банка (ПНБ): валютные резервы Польши выросли до 48,85 млн. евро». (*«Дзенник»*, 7-8 марта)

■ «Своим последним выступлением в Сейме премьер не оставил сомнений: грядут очень тяжелые времена. Мы не можем повлиять на ход глобального кризиса, но постараемся смягчить боль хотя бы там, где это возможно (...) События последних недель открыли полякам глаза — которые, вероятно, надолго останутся широко открытыми. Не будем обманываться, идут времена роста безработицы, проблем с погашением кредитов и краха фирм. Нет уверенности, действительно ли нам удастся избежать рецессии в 2009 году. Но любая рецессия когда-нибудь заканчивается, а страна с сильными основами развития должна стиснуть зубы и перетерпеть трудные времена. Дай Бог, чтобы они длились только год (как сейчас считается), а не гораздо дольше». (*Витольд М. Орловский, «Политика»*, 28 февр.)

■ «После подведения итогов прошлого года министр финансов Яцек Ростовский представил отчет о состоянии государственных финансов. Приходы и расходы госбюджета в 2008 г. были ниже запланированных. Бюджетный дефицит должен был составить 27,9 млрд. злотых, а составил (по предварительным расчетам) 24,6 миллиарда. Доходы государства составили более 254 млрд. злотых, т.е. более 90% запланированного. Налоговые и неналоговые доходы были получены в размере 96,9% плана. Из европейских фондов и других подобных источников государство получило 15,2 млрд. злотых, т.е. 43,2% плана. Расходы бюджета в 2008 г. должны были составить почти 309 млрд. злотых, а составили (по предварительным оценкам) 278,6 млрд. злотых. В 2009 г. доходы бюджета составят 303,3408 млрд. злотых (...) Средства из ЕС и других подобных источников должны составить 33,6015 млрд. злотых. Расходы не должны превысить суммы 321,2211 млрд. злотых. Дефицит госбюджета должен быть на 26% меньше,



чем в 2008 г., что составляет 18,1863 млрд. злотых. Поиск статей экономии в ведомствах (каждое должно было изыскать возможность сократить расходы на 10%) принес 19,704 млрд. злотых. Понадобятся ли эти деньги, будет ясно в середине года. Тогда нужно будет внести поправки в бюджет». («Дзенник», 6 марта)

■ **Замминистра финансов Эльжбета Сухоцкая-Рогуская:** «Дефицит сектора государственных финансов не превысит в этом году 3% ВВП. Поддержание такого уровня дефицита является одним из условий вступления в зону евро». («Дзенник», 7-8 марта).

■ «Дискуссия о кризисе? А не лучше ли об in vitro или эвтаназии?» («Наши дзенники», 7-8 марта)

■ «Опрос ЦИОМа свидетельствует о том, что подавляющее большинство поляков не возражает против метода in vitro. 77% считают его приемлемым, когда дело касается супружеской пары, 53% — также партнеров, а 51% — одинокой женщины. Но если нужно выбрать между in vitro и усыновлением, то 46% опрошенных высказываются в пользу усыновления. За in vitro — 36%». («Газета wyborcza», 7-8 марта)

■ «Согласно опросу компании «Инквеста», почти каждый третий поляк открыто признаётся, что поддерживает легализацию эвтаназии. Почти половина, желая избежать судьбы Терри Шайво и Элуаны Энглара, которые годами находились в вегетативном состоянии, собирается подписать «завещание жизни». («Ньюсуик-Польша», 1 марта)

■ **Министр иностранных дел Радослав Сикорский:** «Я рад, что могу работать в правительстве, которое не кормит общество сказками, а реагирует на кризис в соответствии с принципом ответственности за государственные финансы». («Газета wyborcza», 7-8 марта)

■ «Саммит в Брюсселе не одобрил решения, ведущие к росту экономического протекционизма. Благодаря усилиям, в частности, Дональда Туска богатые страны отказались от идеи спастись от кризиса за счет более бедных стран. Не будет еврооблигаций и изъятия капитала западных банков из отделов в Восточной Европе». («Тыгодник powszechny», 8 марта)

■ «Согласно опросу ЦИОМа, наибольшим общественным доверием пользуются премьер-министр Дональд Туск (62%), Радослав Сикорский (61%) и Лех Валенса (60%). В предыдущем, январском опросе первое место занимал Лех Валенса, но с тех пор он потерял 3%». («Впрост», 6 марта)

■ «Премьер должен заплатить 10 тыс. злотых, поскольку он проигнорировал решение Варшавского воеводского административного суда, обязывавшее его предоставить заинтересованному гражданину отчет о нарушениях в работе Центрального антикоррупционного бюро. В июле суд отменил решение Дональда Туска об отказе в предоставлении отчета юристу Петру Бжозовскому из Миломлына на Мазурах». («Газета wyborcza», 21-22 февр.)

■ Согласно опросу Лаборатории социологических исследований, проведенному 20-22 февраля, если бы президентские выборы прошли сейчас, Дональд Туск набрал бы 30% голосов, Лех Качинский — 13%, Влодзимеж Цимошевич — 12%. («Газета wyborcza», 27 февр.)

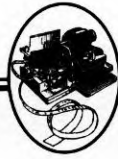
■ Согласно опросу ГФК «Полония», в начале марта за «Гражданскую платформу» (ГП) проголосовало бы 58% избирателей, за «Право и справедливость» (ПиС) — 28%, за Союз демократических левых сил (СДЛС) — 5%, за крестьянскую партию ПСЛ — 4%. Избирательный барьер составляет 5%. («Жечпосполита», 12 марта)

■ «Согласно опросу ЦИОМа, 48% поляков уже ощущают последствия кризиса (три месяца назад их было только 18%). Чаще всего в качестве такого последствия указывается снижение доходов (24%). Каждый пятый респондент отказался от покупок, связанных с большими расходами, а каждый десятый — от того, чтобы взять кредит». («Впрост», 8 марта)

■ «Паника в доме, лихорадочные попытки сэкономить, ссоры из-за денег и взаимные обвинения в расточительстве — таким коварным образом финансовый кризис касается всё большего числа семей». («Дзенник», 4 марта)

■ «Из отчета Бюро экономической информации «ИнфоМонитор» следует, что 1,3 млн. поляков задерживают оплату за электричество, телефон и квартиру на 60 с лишним дней. Общая сумма такой задолженности составила в феврале 8,6 млн. злотых. Средняя задолженность составляет 6636 злотых и за последние месяцы выросла на 211 злотых». («Впрост», 8 марта)

■ ««Я первый напишу заявление о банкротстве», — говорит Тадеуш Брось, когда-то известный диктор телевидения. Он потерял работу, не выплатил кредит, и его долг вырос с 200 тыс. злотых почти до 600 тысяч. Он понимает, что ему никогда его не отдать. К счастью, 31 марта вступает в силу закон о банкротстве физических лиц. Он даст возможность таким людям, как Брось, освободиться от долгов



и начать новую жизнь. «Этим шансом могут воспользоваться до 200 тыс. человек», — прикидывает доктор Януш Гробицкий из Центра Адама Смита». (*«Польска», 7-8 марта*)

■ «Принципы объявления о банкротстве: 1. О потребительском банкротстве могут объявить только физические лица, не ведущие хозяйственной деятельности. 2. Можно очиститься от долга, только если задолженность появилась в исключительных обстоятельствах, не зависящих от должника. 3. Заявление о банкротстве может подать в суд только сам должник. 4. Банкротство можно объявлять не чаще, чем раз в 10 лет. 5. Синдик продает собственность должника, в т.ч. занимаемую им недвижимость (...) Из вырученной суммы синдик выделяет должнику столько, сколько необходимо для съема квартиры в течение 12 месяцев. 6. Должник имеет 5 лет на удовлетворение кредиторов, которым не заплачено после продажи имущества. После этого срока суд аннулирует остаток долга. Однако в этот период должник не имеет права покупать в рассрочку или с отсрочкой в оплате». (*«Польска», 7-8 марта*)

■ «Психологическое пособие. Бесплатное приложение к еженедельному журналу «Политика». №10 (2695), 7 марта 2009. Выпуск 10. «Не сдавайся. Кто не утонет во время кризиса? Можно ли быть счастливым без работы? Какие эмоции потрясут рынок?» (Текст на обложке 45-страничного приложения к журналу «Политика»)

■ «Как выстоять в трудные времена? (...) Еще 2-3 месяца назад можно было питать иллюзии, что мировой кризис нас не коснется. Но за последние три месяца работу потеряли четверть миллиона человек, а траты поляков в магазинах впервые за долгое время стали уменьшаться. Многие экономисты опасаются, что последствия экономического замедления могут коснуться большинства польских семей. Как подготовиться к худшим временам? (...) Проверь, не грозит ли твоему домашнему бюджету дефицит (...) Если у тебя нет больших сбережений, подготовь запасной план. Как? Пересмотри расходы, запланируй, где можно их урезать. Проверь, какова доля обязательных расходов. Чем больше доля постоянных расходов, тем более решительно нужно урезать те, которые необязательны (...) Проверь, какую долю расходов занимает оплата в рассрочку (...) Рассрочка не должна превышать 30-50% семейного бюджета (...) Постарайся не брать новых кредитов (...) Не

проедай финансовых излишков. Если в твоём бюджете есть небольшой запас, откладывая деньги на худшие времена (...) Следи за уровнем своих сбережений (...) Размести как можно большую их часть так, чтобы ты мог иметь к ним доступ в любое время (...) Не оставляй без внимания дыру в бюджете (...) потому что если ты не уменьшишь расходы, то можешь попасть в капкан задолженности». (*Мацей Самчик, «Газета wyborcza», 28 февр. — 1 марта*)

■ «В самый разгар катастрофы нашлось три тысячи польских фирм, которые поверили в землю обетованную на востоке и открыли там свои филиалы. На сегодняшний день около тысячи хозяйственных субъектов инвестировали в России полмиллиарда долларов. Еще больше фирм — более двух тысяч — действует на Украине, где объем польских инвестиций составляет сегодня 700 млн. долларов. Теперь их шефы уже знают, что Россия и Украина — это не обетованная земля, а потрясаемые кризисом рынки, козырем которых вот уже много лет остается их перспективность. Несмотря на рецессию, которая продлит срок ожидания крупной прибыли, они не собираются отступать. Они рассчитывают, что раз у них больше опыта в рыночной экономике, то они лучше справятся с кризисом, чем местные конкуренты». (*Радослав Омахель, «Ньюсуик-Польша», 22 февр.*)

■ «Московские власти в одностороннем порядке уменьшили число разрешений, необходимых для осуществления перевозок по территории России (...) Вместо 200 тыс. разрешений мы получили 40 тысяч. Согласно международным договоренностям, лимиты устанавливает комиссия, состоящая из представителей обеих стран. Тем не менее, Россия в одностороннем порядке уменьшила лимиты. Но и этого мало. Польская сторона не получила ни одного разрешения на перевозки из т.н. третьих стран, хотя должна была получить их 30 тысяч». (*«Жечносполита», 4 марта*)

■ ««Газпром» множит проблемы. Сначала компания приостановила поставки газа в Польшу, теперь она не платит за транзит газа по Ямальскому газопроводу, а ее представители блокируют изменения в оплатах (...) 20 млн. долларов должен доплатить «Газпром» польской компании «ЕвроПолГаз» за транзит газа в 2006 году (...) В Европе все больше говорят о проблемах Польши, которая, единственная из всех стран ЕС, после окончания российско-украинского газового конфликта не получает всего газа, заказанного на востоке». (*«Газета wyborcza», 20 февр.*)



■ «Польская нефтегазовая компания (ПНГК) сообщила, что с 1 марта «Газпром» приостановил дополнительные поставки газа в Польшу — 5 млн. кубометров (...) Они были восполнением 7 млн. кубометров, не поступивших через польско-украинский переход в Дроздовичах. ПНГК не настаивает на возобновлении дополнительных поставок, потому что с концом зимы потребление топлива снизилось с 50 до 40 млн. кубометров в день». (*«Дзенник»*, 3 марта)

■ ««Газпром» представил ПНГК проект договора по дополнительным поставкам газа на этот год — вместо того, который не выполняет компания «РосУкрЭнерго» (...) «Газпром» рассчитывает, что Польша откажется от претензий к «РосУкрЭнерго», которое, несмотря на подписанное соглашение, не поставляет нам газ. Между тем ПНГК имеет право требовать 60 млн. долларов возмещения ущерба за невыполненный в этом году контракт, тем более что российско-украинская компания должна быть в скором времени ликвидирована (...) «Газпром» владеет половиной акций РУЭ, и именно он рекомендовал его как партнера ПНГК в 2006 г., когда подписывался договор». (*«Жечпосполита»*, 6-8 марта)

■ «Польские и российские фирмы хотят ввести в действие мощный кабель, по которому потекло бы дешевое электричество с Украины. Проект блокируется украинским правительством (...) Речь идет об энергетическом кабеле, протянутом от электростанции в Хмельницком на Украине до Жешува в Польше (...) Польские энергетики подозревают, что кабель, как и многие другие проекты на Украине, стал жертвой конфликтов между премьер-министром Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко. Соперничающие лагеря обоих лидеров блокируют почти любой крупный инвестиционный проект друг друга». (*Рафал Засунь, «Газета wyborча», 24 февр.*)

■ ««Это была красивая деревня, 172 двора, посередине церковь, школа, вокруг сады. Сегодня я ишу эти места — куда они подевались? Где наши близкие? Где церковь? Где школа?» — говорила в субботу Малгожата Госнёвская-Кола, председатель общества «Гута-Пеняцкая». Общество объединяет семьи поляков, убитых в деревне 65 лет назад. 28 февраля 1944 г. около тысячи поляков из Гуты-Пеняцкой под Львовом были убиты отрядом немцев и украинцев (...) Президент Лех Качинский говорил в субботу о жестокости этого преступления (...) призывал к примирению (...) В том же

духе высказывался и президент Виктор Ющенко: «Я глубоко верю, что украинец подал поляку руку дружбы на века» (...) К примирению призывало также римско-католическое, греко-католическое и православное духовенство». (*Петр Косцинский, «Жечпосполита», 2 марта*)

■ «Первым большим шагом на пути к польско-украинскому примирению стала в 2003 г. мемориальная церемония, посвященная резне на Волыни, в которой участвовали президенты Александр Квасневский и Леонид Кучма (...) По разным подсчетам, в этнических чистках погибло тогда от нескольких десятков до ста тысяч поляков и полтора десятка тысяч украинцев. В 2006 г. почтили — при участии президентов — память 360 украинцев, убитых отрядом Армии Крайовой в Павлокоме под Жешувом в отместку за убийство поляков. Поминание этого года в Гуте-Пеняцкой не вызвало особого интереса у украинских СМИ». (*Мариуш Завадский, «Газета wyborча», 2 марта*)

■ «Кладбище в Легнице — один из польских некрополей, на котором появится общая гробница квартировавших в Польше советских солдат и их семей (...) Лидию Новикову эксгумация, проведенная в конце ноября — начале декабря, обошла стороной. На могиле, украшенной фотографией красивой молодой женщины, горят свечи, лежат свежие цветы (...) «История русской, которая полюбила поляка и заплатила за это, покончив с собой, — это часть истории нашего города, — говорит Ядвига Зенкевич, заместитель президента (мэра) Легницы. — Поэтому мы прислушивались к тому, что говорят легничане. В городскую управу поступило множество просьб оставить могилу русской женщины. [О судьбе Лидии Новиковой рассказывает новый художественный фильм Вальдемара Кшистека «Малая Москва»]». (*Магда Подсядлы, «Газета wyborча», 14-15 февр.*)

■ «В Мальборке (...) роскошный четырехзвездочный отель встанет недалеко от места, где были найдены останки двух тысяч человек (...) В общей могиле 1945 г. до сих пор идут работы по эксгумации (...) Оказалось, что среди жертв немало маленьких детей, кроме того, не у всех есть огнестрельные раны (...) Кроме немцев, расстрелянных русскими, в могилу попали также умершие и погибшие в боях». (*Яцек Скробиш, «Польска», 9 марта*)

■ «Вилла «Ясный дом» на ул. Сверща в варшавском районе Влохы будет занесена в список памятников истории. В послевоенные годы там



находилось одно из отделений Управления безопасности (...) В подвалах в 1946-1953 гг. держали солдат Армии Крайовой (...) В дверях бывших камер до сих пор есть вырезанные глазки, а также отверстия для выдачи еды. На стенах сохранилось множество надписей, рисунков и тюремных календариков, нацарапанных заключенными». (*«Дзенник»*, 10 марта)

■ «Мостовая из еврейских надгробий более 60 лет служила жителям городка Собене-Езёры под Отвоцком. Сегодня ее разберут. Почти 150 каменных плит вернется на местный киркут. Тротуар из мацев был положен в войну или сразу после нее (...) Проблема украденных мацев есть и в Варшаве. Каменные плиты с Еврейского кладбища в Праге были использованы в 50-е годы, например, для сооружения поребриков в зоопарке и беседок в парке». (*Томаш Ужиковский, «Газета wyborча»*, 6 марта)

■ «Впервые в Польше на еврейском кладбище почтили память католического священника. «Это был прекрасный человек и друг. Он останется в наших сердцах», — сказал Тадеуш Якубович, председатель еврейской общины Кракова, открывая мемориальную доску в честь о. Станислава Мусяла». (*«Жечпосполита»*, 5 марта)

■ «Католики и евреи встретились в краковском иезуитском институте «Игнацианум», чтобы почтить память ушедшего из жизни пять лет назад о. Станислава Мусяла (...) Вчера впервые присуждена премия им. о. Станислава Мусяла. Ее лауреатом стал недавно умерший профессор Ян Блонский». (*Катажина Висневская, «Газета wyborча»*, 7-8 марта)

■ «Согласно опросу «IMAS International», 93% поляков заявляют о своей принадлежности к католичеству (...) 83% считают себя верующими (...) Почти 50% верующих участвуют в воскресной мессе». (*«Жечпосполита»*, 10 марта)

■ «В конце февраля пятеро монахов из самого известного тибетского монастыря Ганден несколько дней пребывали в монастыре бенедиктинцев в Тынце под Краковом. В связи с политической ситуацией они должны были покинуть Тибет и поселиться в Индии. В Краков они приехали в рамках проекта «Время для Тибета» (...) «Их религиозная традиция старше нашей. Мы можем многому от них научиться», — говорит отец Ян Павел Конобродский». (*«Наш дзенник»*, 7-8 марта)

■ Вчера, в 50-ю годовщину тибетского восстания, в 25 городах Польши мы заявили о нашей солидарности с жителями оккупированного Тибета. Главным мотивом была лента с надписью «Тибет — оккупированная территория». Ею огорожены места демонстраций, хэппенингов, киносеансов, концертов и выставок тибетского искусства. Координатором акции был фонд «Иное пространство». (*«Газета wyborча»*, 10 и 11 марта)

■ «Память Рышарда Сивеца, который в 1968 г. во время праздника урожая на Стадионе десятилетия ПНР поджег себя в знак протеста против вторжения в Чехословакию, почтили вчера в столице Чехии. Его именем названа улица в центре Праги». (*«Дзенник»*, 14-15 февр.)

■ Рышард Сивец, 1909-1968. Родился в Дембице, окончил философский факультет во Львове, в университете им. Яна Казимира. Воевал в Армии Крайовой. После войны работал бухгалтером, подрабатывал, выращивая кур и занимаясь садоводством. 8 сентября 1968 г., на глазах у ста тысяч людей на трибунах стадиона, разбросал листовки с протестом против вторжения СССР в Чехословакию, облил себя бензином и поджег. Умер в больнице спустя четыре дня в результате ожогов 85% поверхности тела. Протест Сивеца на полгода предвосхитил громкое самосожжение чешского студента Яна Палаха. Посмертно он награжден высшими польскими, чешскими и словацкими наградами. В пятницу Сейм почтил память Сивеца, назвав его героем трех народов. (*«Жечпосполита»*, 7-8 марта)

■ «В Дембице открыта мемориальная доска, посвященная протесту Сивеца против вторжения в Чехословакию в 1968 году (...) «Помните, что родина — это не только вы, но и тот сбитый с толку милиционер, который бьет палкой и ногами за желание быть свободными», — напомнил во время мессы слова завещания Сивеца о. Рышард Пясецкий». (*«Жечпосполита»*, 9 марта)

■ «Гданьская художница изготовила косметические препараты для похудения, содержащие человеческий жир (...) Алина Жемойдзин несколько месяцев назад защитила диплом в гданьской Академии художеств. Ее дипломный проект состоял в изготовлении линии косметических препаратов для похудения (кремы, бальзамы, гели, серум, мыло), в состав которых входит человеческий жир (...) Ее работа была оценена на пять с плюсом (...) Сегодня проект будет показан в Гданьском центре современного искусства «Лазня». (*Дорота Карась, «Газета wyborча»*, 6 марта)



■ «После двухлетней борьбы с раком легких (...) умер проф. Збигнев Релига (...) Он был символом польской кардиохирургии: в 1985 г. он пересадил человеческое сердце. Эта была первая успешная трансплантация в Польше (...) Дважды он был сенатором (...) В правительстве Пис занимал пост министра здравоохранения (...) В конце прошлого года был награжден орденом Белого орла». (*«Жечпосполита»*, 9 марта)

■ ««Самое ценное, что он нам оставил, — это польская трансплантология. Он сам провел более 400 пересадок. Воспитал прекрасных специалистов, о которых можно даже сказать, что ученики переросли учителя», — говорит Тадеуш Житкевич, учитель, 81 год, из них 21 — после пересадки сердца Религой». (*«Жечпосполита»*, 10 марта)

■ ««Мы строили несколько колодцев в Дарфуре, но когда в Кульбусе задержали наших работников, строительство колодца было приостановлено. Наша коллега, которая координировала деятельность «Польской гуманитарной акции» в Дарфуре, возвращается во вторник», — рассказывает Янина Охойская, создательница и директор ПГА (...) ПГА помогает жителям Судана вот уже пять лет (в августе была основана постоянная миссия в южном Судане) (...) Она передавала палатки и медицинское оборудование для крупнейшего лагеря внутренних беженцев в Зам-Заме в северном Дарфуре (...) Благодаря ПГА при лагерях беженцев появилось 40 глубоких колодцев, доставлены запчасти для починки насосов. По оценкам ПГА, помощью воспользовались уже почти 40 тыс. человек». (Доминик Улиг, Войцех Ягельский, *«Газета wyborcza»*, 7-8 марта)

■ «Белорусская прокуратура предупредила белорусскую журналистку, что сотрудничество с польским телевидением «Белсат» запрещено (...) Аналогичное предупреждение услышала вчера журналистка Татьяна Бубликова, член Независимого белорусского союза журналистов (...) В начале декабря похожее предостережение получил деятель оппозиции из Гомеля Константин Жуковский». (*«Газета wyborcza»*, 26 февр.)

■ «Министр национальной обороны Богдан Клих вернулся вчера из двухдневной поездки в Афганистан. Он посетил четыре польских базы, в которых расквартированы около 1600 польских военнослужащих четвертой смены (...) В дополнение к этому Польша выделит еще одну воинскую часть, которая в случае необхо-

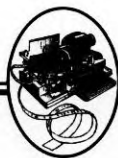
димости в любой момент будет переброшена в Афганистан (...) Туда будут высланы также дополнительные военные вертолеты и бронетранспортеры». (*«Дзенник»*, 7-8 марта)

■ «Согласно опросу ЦИОМа, после 10 лет в НАТО 80% поляков поддерживают членство в Североатлантическом союзе. Против выступают только 11% (...) Противников миссии в Афганистане 73%, а сторонников — только 23%». (*«Газета wyborcza»*, 10 марта)

■ «Специальная полицейская группа задержала чеченского террориста, подозреваемого в совершении убийств по заказу российских спецслужб. Турпаль Али застрелил, в частности, бывшего начальника охраны президента Чечни за раскрытие его мафиозной деятельности (...) Теперь чеченца ждет экстрадиция в Австрию. Там он предстанет перед судом по обвинению в убийстве». (*«Дзенник»*, 23 февр.)

■ Проф. Анджей Семашко, криминолог, профессор Института правосудия: «Последние данные по жертвам — от января с.г. — подтверждают, что преступность в Польше продолжает падать. Несмотря на сильный кризис (...) Виновники преступлений — это в основном мужчины в возрасте от 16 до 24 лет, так что зависимость проста: чем меньше эта возрастная группа, тем меньше преступность. На демографический спад наслоилося еще и эмиграция. Эмигрируют, в основном, молодые (...) Может быть, неслучаен факт, что в Англии, Ирландии и Исландии, куда чаще всего эмигрируют поляки, преступность самая высокая в Европе. Возможна и более качественная работа полиции, которая уже не обременена таким количеством вызовов (...) Наш мозг созревает на удивление поздно — к 24-му году жизни. Говорят, до этого средний мозг напоминает мозг психопата: еще недоразвита способность к сопереживанию, отсрочке вознаграждения, сдерживанию влечений и эмоций (...) Связь между группой риска — мужчинами 16-24 лет — и падением преступности имеет, как мне представляется, математический характер. Упрощая: если эта группа уменьшается в два раза, то преступность — в четыре». (*«Газета wyborcza»*, 3 марта)

■ «Польские цирки открывают новый сезон. Слоны, тигры, зебры, змеи — дикие животные, которые на свободе охраняются, в шатрах должны будут выступать на радость толпе (...) Контроль условий, в которых пребывают животные в польских цирках, весьма слаб. Между тем слоны, тигры и зебры заболевают там психически (...) Правда, уже не встречается случаев



выкалывания животным глаза со стороны, где стоит дрессировщик (так делали до момента распада СССР), но в странах, допускающих выступления животных в цирках, их все еще избивают и ранят (...) Польские экологические организации готовят поправки к закону об охране животных, которые запретят выступления диких животных в цирках». (Якуб Хелминский, «Дзенник», 6 марта)

■ «В приюте Божены Валь в нескольких десятках километров от Варшавы художница и семеро ее помощников ухаживают за 750 собаками. Приют она содержит на собственные деньги и дотации для ее фонда «Последний шанс». На еду для такой оравы хватает с трудом, на ремонт — уже совсем не хватает. Поэтому в эту субботу художница будет продавать свои картины». («Газета wyborча», 21-22 февр.)

■ «Зимой хищные птицы массово гибнут под колесами мчащихся автомобилей (...) Чаще всего под колеса попадают мышеловы, которые высматривают добычу со столбиков у скоростных дорог. В Силезскую лесную скорую помощь почти ежедневно попадает птица, раненная на дороге (...) Дороги и обочины привлекательны для птиц, так как они очищены от снега и посыпаны солью, что притягивают мелкую живность. Особенно грызунам легче найти тут побеги трав, чем выкапывать их из-под снега в лесу (...) Их тоже часто давят машины, а хищные птицы караулят падаль (...) Если машина приближается со скоростью до 60 км/час, мышелов успевает убежать с проезжей части. Более высокие скорости в природе обычно не встречаются, и мышеловы в таких случаях не в состоянии отреагировать». (Якуб Хелминский, «Дзенник», 4 марта)

■ «В сердце Беловежской пуши появились квадроциклы! Они заполнили уже всю Польшу. Это популярный подарок для мальчиков к первому причастию (...) Борьба с квадроциклами в лесах, горах и на пляжах — это борьба с плохим воспитанием и ментальностью». (Адам Вайрак, «Газета wyborча», 21-22 февр.)

■ «Проезжающие через Бебжанский национальный парк поезда стали ездить медленнее, чтобы не сбивать стоящих на путях лосей. Благодаря усилиям БНП и «Дзенника» Польские железные

дороги согласились на местное ограничение скорости до 50 км/ч (...) Железнодорожники согласились на это после того, как в начале года под колесами локомотивов за короткое время погибли четыре лося. Дирекция парка подсчитала, что ежегодно в этом месте гибнет до 20 лосей. В БНП их 600. Все они находятся под особой охраной по всей стране». (Эмилия Вебер, «Дзенник», 21 февр.)

■ «Еще несколько дней назад 12-летней Латке грозила смерть в бойне. После призыва газеты «Жиче Варшавы» на счет фонда «Центаурус», занимающегося спасением предназначенных на убой лошадей, стали поступать пожертвования от варшавян. Уже через три дня кобылу удалось выкупить. Читатели собрали 2,3 тыс. злотых, и еще 850 — на транспортировку в Варшаву (...) Супруги Ярославские предложили взять лошадь к себе (...) Фонд «Центаурус» спас жизнь уже 90 лошадям. Они попали в центры, где с помощью иппотерапии помогают, в частности, инвалидам и трудной молодежи. Латка пока работать не может. Она в тяжелом состоянии: истощена, кожа в грибки, в паху большая рана. «Теперь о ней будет заботиться один из врачей Польского союза конного спорта», — заверяет Ярослав Ярославский». (Наталия Бет, «Жечпосполита», 2 марта)

■ «Случайный контроль в одной из мазовецких деревень спас животных, содержавшихся в ужасных условиях. Сегодня пять коров, которых чуть не уморил голодом один из крестьян, попадут в другое хозяйство. Одна была настолько истощена, что ветеринары должны были ее усыпить (...) Число уведомлений об издевательствах над животными продолжает расти (...) В 2008 г. было заявлено о 1940 случаях издевательств — год назад их было 1522, а пять лет назад — 1180. Половина из них имела место в деревнях (...) Чаще всего о преступлении информируют туристы или инспекторы. Среди соседей обычно царит заговор молчания. Проблема состоит в практической безнаказанности виновных (...) Суды чаще всего выносят условные приговоры». (Эмилия Вебер, «Дзенник», 11 марта)

■ Тимотеуш Скиба, 1987 г.р.: «Вместе с «круглым столом» в Польше закончился романтизм. Не за что бороться. Не с кем бороться». («Дзенник», 11 марта)



КОММУНИСТЫ — И ОТДАТЬ ВЛАСТЬ?

Говорит Лех Валенса



Лех Валенса

— Чего вы ожидали в конце 80-х годов, когда у вас уже была Нобелевская премия, товарищи из оппозиции вышли из тюрем, но в стране был застой, а о «Солидарности» и договоренности с властью даже речи не было?

— Знаете, я про вчерашний день плохо соображаю. Я решаю сегодняшние кроссворды, которые мне подбрасывает жизнь, и иду дальше. Прошлого я оставляю историкам, политикам и полицейским архивам. Многих вещей я просто не помню. Но ответить попробую.

Я с самого рождения, всю свою жизнь был антикоммунистом. Я из простой деревенской семьи. В доме было полное отрицание коммунизма. Не то чтобы у нас какие-то там концепции системы были, у нас семья простая была, но всё в доме было против этой системы. Что-де нас, такого верного союзника, после войны предали, что нам эту систему навязали, что коммунисты убивают, угнетают, подслушивают и всё такое. Мы слушали радио «Свободная Европа». Так я и воспитывался, на религии и антикоммунизме. И чем дальше плыл

корабль моей жизни, тем больше у меня было конфликтов, тем больше я бунтовал, не соглашался, у меня и с учителями были конфликты, и в армии. И так я всё больше и больше в это дело ввязывался, пока невзначай не дошел до того, что стал оппозиционером.

Я знал, что коммунизм реформировать невозможно, что можно искать какие-то способы с ними договориться, но только для передышки, а потом нужно хватать власть за горло. Я знал, что коммунизм должен проиграть, потому что эта система была чистым абсурдом. Вопрос был только, когда и каким образом. Я всегда старался приблизить его падение, но так, чтобы и заплатить за это наименьшую цену.

Во время военного положения нас хотели уничтожить, но им это не удалось. Вы спрашиваете про 1986-1987 годы. Я тогда со всех сторон слышал, что нельзя дважды войти в одну реку, что «Солидарность» проиграла, что коммунисты не уступят.

— От кого вы это слышали?

— Да со всех сторон.

— Был такой момент, что даже Церковь признала, что «Солидарность» — это прошлое. Это публично заявил примас Глемп во время одной своей поездки за рубеж.

— Я не хочу переходить на личности. Но слышал я это практически ото всех. Меня уговаривали, чтобы я бросил заниматься «Солидарностью». За исключением Его Святейшества Папы. Он мне этого никогда не сказал. Да и многие мои коллеги из оппозиции говорили, что ничего не выйдет, что «Солидарность» — это уже только перевернутая страница. А я с упорством маньяка повторял, что без «Солидарности» ничего не будет, что мы не сдвинемся с места.

— Потом начались забастовки 1988 года. Что-нибудь они изменили?

— Тоже мне забастовки, прости Господи! Болтовни было много. Жалкая картина. Только одна, в Новой Гуте, которую коммунаки подавили, была еще более или менее. Остальное — жалкие стачки, какие-то молодые люди присоединялись, это правда, но без веры в победу.

В мае началась забастовка на Гданьской судовой верфи. Я сделал ее руководителем Алоизия Шаблевского, инженера, уже пожилого, плохого политика, но достойного человека. Они там заседали, выдвигали какие-то требования, обсуждали, как вести переговоры, а я всё это время пролежал на



пенопласте. Каждые полчаса я поднимал руку, и Шаблевский говорил: «Давайте послушаем, что скажет наш уважаемый председатель».

А я говорил: «Нет свободы без «Солидарности»». И всё.

Переворачивался на другой бок и дальше спал. И раз десять. Я им говорил: «Ребята, всё, что вы тут говорите, все эти требования, это всё не в счет. Главное — вырвать у них «Солидарность», а всего остального мы добьемся».

— *Во время августовской забастовки вам пришло от генерала Кищак приглашение на переговоры.*

— Да. По-моему, его привез адвокат Сила-Новицкий. Я думал тогда, что еще год или два — и нам придется всё начинать сначала, как в 1980-м. Поэтому я решил, что нужно сделать всё, чтобы, блин, как-то зацепиться, что-то сдвинуть с места. И когда пришло это приглашение, я понял, что на этом можно сыграть, что-то построить. Там были условия: закончить забастовку. Тогда мне страшно мешал наш великий подпольщик «Барсук», Богдан Борусевич: он старался раздувать огонь, а я — тушить. Потом мы между собой всё выяснили.

Я знал, что коммунисты хотели проверить, достаточно ли у меня власти, остался ли я руководителем, насколько сильна «Солидарность». Но я все равно согласился. Я знал, что нас хотят обмануть, и поэтому сказал, что никаких переговоров без присутствия священника не будет. Рядом должен был ксёндз — как пожилая дама при девице. Они хотели нас проверить: что-то дать, чего-то не дать, а потом всё взять обратно.

— *Затем, в сентябре и ноябре 1988-го, были переговоры в Магдаленке, в приходе в Виланове и т.д. Как они проходили?*

— Я повторил, что нет свободы без «Солидарности», а всё остальное неважно. Понятно, я радовался, когда уже потом, за «круглым столом», мы чего-то добивались: то отмена цензуры, то экономические свободы.

— *А разве договоренность «вам — свободный Сенат, а нам — выборы по квотам и пост президента» не была переломной?*

— Это был их пробный шар. Они хотели проверить и нас, и самих себя. Эту договоренность нельзя было соблюдать.

— *Почему?*

— Я до сих пор избегал говорить об этом, потому что должен был бы заявить публично, что я мошенник, что я подписал это соглашение, чтобы потом другую сторону задушить, что я поступал нечестно, что пошел против собственной совести. Но некоторые генералы меня вынудили, так что я всё скажу.

— *Кто именно?*

— Даже Кищак несколько недель назад сказал, что они дали нам больше, чем «Солидарность» хотела взять. Ну дали — и дали, но для того, чтобы мы этим подавились. Они себе оставили президента, армию, госбезопасность, а нам дали экономику, даже премьера, чтобы нас возненавидели за эти реформы, а потом бы они нас прикончили.

Мазовецкий — порядочный человек, но формалист. Остальные тоже хотели соблюдать договоренности, считали, что договоры следует выполнять. Меня тоже так воспитали, но мне пришлось себе изменить. А Мазовецкий потом даже выступил против меня за пост президента. И что? Он даже Тыминскому проиграл.

А что бы было, если бы Ярузельский еще пять лет был президентом? А Кищак — пять лет во главе МВД? Как бы мы тогда вступали в НАТО и Евросоюз?

— *Но коммунизм и так распадался. Он не попевал за Западом.*

— Да? А как бы выглядел путч Янаева в 1991 г., если бы все эти коммунисты были на своих должностях? Как бы выглядела тогда Польша, если бы тогда в ней по-прежнему были советские войска?

Я был тогда вынужден всё ускорить. Мы должны были сбросить генерала Ярузельского, я должен был опрокинуть «круглый стол». Все были против меня. Я сам всё это сделал, одним движением. И к тому же еще не мог говорить вслух, что я нарушаю договоренности.



— *Но жизнь и так выплеснулась, за рамки соглашений «круглого стола». Коммунисты проиграли выборы, отдали правительство.*

— Вот именно. На выборах они хотели проверить нашу и свою силу. И проиграли. Они хотели втянуть во власть благовоспитанных чистюль из нашей среды, а себе оставить все силовые структуры. Они там беспрерывно встречались с экспертами и придумывали, как бы им сохранить для себя как можно больше. А при этом Ярузельский принимал поправки к конституции. Я видел, что нужно нанести еще один удар, пока они еще не пришли в себя. Здесь видно, как много в истории зависит от одного шага.

— *А вам не кажется, что хотя за «круглым столом» коммунисты хотели лишь поделиться властью с «Солидарностью», то потом уже они считались с тем, что утратят ее полностью, например, на следующих выборах через четыре года?*

— Вы шутите или что? Коммунисты — и отдать власть? Они никогда никому власти не отдавали. Они хотели реформировать коммунизм по принципу: «коммунизм — да, извращения — нет», как в 1956 году. Они хотели себе оставить главное — власть. И самое главное было — сбросить генерала. Они были хорошо организованы. «Круглый стол», правительство Мазовецкого — всё это еще не были настоящие победы. То есть, конечно, да, но как этапы в последовательности событий, а не как окончательная победа. Мы могли еще всё проиграть. Ярузельский не мог бы пойти в НАТО, он мог бы остаться президентом еще два срока подряд. И путч Янаева совсем по-другому тогда бы пошел.

— *Вероятно, они уже не собирались реформировать коммунизм. Раковский в своих дневниках в 1981-1983 гг. много раз повторял, что эту систему реформировать невозможно.*

— Одно дело — писать, а другое — делать. К тому же Раковский не был целиком их человеком. Он всегда сторонился этих генералов.

— *Но когда Ярузельский и несколько других высокопоставленных руководителей сделали ставку на «круглый стол», против них был весь ЦК ПОРП, и они его шантажировали: не хотите — не надо, играйте дальше без нас. Почему вы не верите в их добрую волю?*

— Эти несколько других высокопоставленных, как вы говорите, решили, что должны допустить нас к власти — но этих, покладистых, — чтобы потом нас добить и разгромить «Солидарность». Это была их дьявольская идея — сделать это в белых перчатках. Их спасение было в том, что Мазовецкий себе правит, делает черную работу, проводит реформы, Валенса его поддерживает, а они ждут взрыва общественного недовольства, массовых протестов — и тогда нас прикончат. И будет коммунизм, с рыночной экономикой, другой, но всё же — коммунизм. И они останутся. Они хотели так осторожно подвести под нас мину. Они хотели коммунизм реформировать, а я — уничтожить. Но у них ничего не вышло, потому что Валенса этого не позволил.

— *Однако после реформ Бальцеровича весной 1990 г. коммунизма уже не было, была другая система.*

— Ну и что с того. Еще немного — и люди бы нас выгнали. Еще несколько месяцев, полгода, год — и мы ничего бы уже не сделали. Уже тогда люди кричали: «Коммуна, вернись!» Даже на моих митингах во время президентской кампании. Вскоре начались бы марши на Варшаву. Это была последняя секунда, чтобы их сокрушить. Я разрушил этот заговор, опрокинул «круглый стол». И сделал это в одиночку, против моих товарищей, которые меня сдерживали.

— *Потому что они не хотели, чтобы вы нарушали деликатное равновесие и ставили под угрозу очень трудные реформы.*

— Может, и да. Я не знаю, как бы дела дальше пошли. Я не настаиваю. Я сделал то, что сделал. И не знаю, кто был прав. И мы этого уже никогда не узнаем. Уж точно не на этом свете.

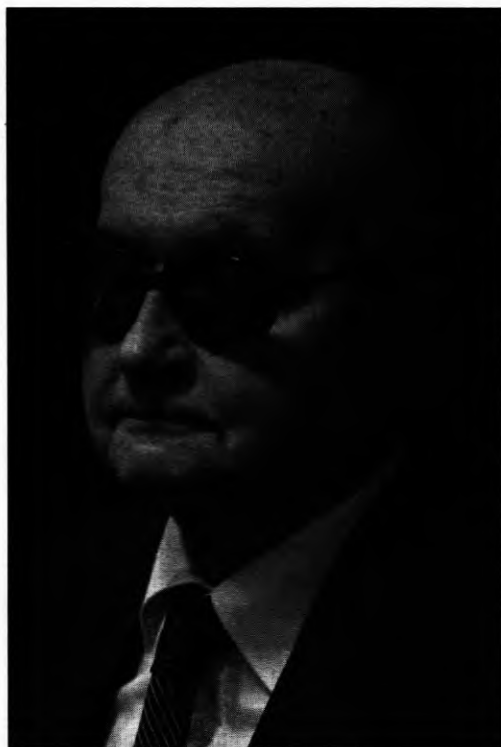
Вел беседу Мацей Стасинский

gazeta
PRAWO



МНЕ ТАКАЯ ПОЛЬША НРАВИТСЯ

Генерал Войцех Ярузельский о переломе 1989 года



Войцех Ярузельский

— *Кто сверг коммунизм?*

— Я ожидал, что вы начнете с дежурной темы — военное положение 1981 года.

— *О военном положении у меня уже больше нет сил говорить.*

— А мне тогда что еще сказать? В качестве обвиняемого я изложил перед судом свои объяснения, которые изданы отдельной книгой под названием «Последнее слово». Но я, конечно же, понимаю, что на эту тему не будет ни последнего слова, ни последнего вопроса.

— *Давайте вернемся к теме коммунизма. Кто же в действительности его сверг?*

— Я помню большую конференцию в Турине по случаю 20-летия перестройки. В ней принимали участие несколько бывших президентов, премьер-министров, многие политики, советские диссиденты. Мы были там вместе с Валенсой и Раковским. Валенса разделил заслуги по-своему. По его мнению, крах коммунизма — это на 50% заслуга Папы Иоанна Павла II, на 30% — «Солидарности» и на 20% — «прочих факторов». Я с уважением отношусь к исторической роли Леха Валенсы, но с такой оценкой трудно согласиться. В этих 20% были свалены в одну кучу все остальные — польские и зарубежные — силы и личности.

— *А по вашему личному мнению, кто же сверг коммунизм?*

— Коротко на этот вопрос ответить нельзя, тем более что коммунизм — понятие весьма растяжимое. Надо сначала задаться вопросом, кто хотел его разрушить, а кто не хотел, но фактически сверг. Хотели его сокрушить Рейган, Папа, «Солидарность». А Горбачев, я сам и многие другие хотели эту систему коренным образом реформировать.

— *Иначе говоря — катастрофа на стройплощадке. Здание развалилось в ходе ремонта...*

— Если не ошибаюсь, еще Гегель сказал, что нет революций без реформ. Реформы постепенно создавали пространство для революционных преобразований. Реформы, которые мы осуществляли, были недостаточны для того, чтобы создать оптимальную систему. Но они способствовали тому, что прежняя система рухнула. К счастью, эволюционным путем.

— *Я бы вас не сумел упрекнуть в отсутствии радикализма. До сегодняшнего дня неолiberaлы во главе с Витольдом Гадомским в качестве образца либеральных рыночных реформ приводят пакет законопроектов, разработанных Мечиславом Вильчеком, министром промышленности в правительстве Мечислава Раковского. Вы тогда были первым секретарем ЦК ПОРП. Это была подлинная революция.*

— С точки зрения марксизма это был коренной поворот. Одним из ключевых принципов марксизма была общественная (а де-факто — государственная) собственность на средства производства.



На протяжении многих лет мы были верны этому принципу. Но запрет частной собственности на средства производства было таким сильным, что проводимые нами реформы фактически были половинчатыми, оставались лишь суррогатом...

— *Чего?*

— Жестких правил капитализма. Без них осуществить эффективные экономические реформы было невозможно. В этом смысле именно премьер Раковский первым начал применять в Польше капиталистические решения. Сама идея принять закон о свободе экономической деятельности уже была чрезвычайно смелой, а с точки зрения марксистской ортодоксии — прямо контрреволюционной. Одновременно вступил в силу закон, открывший Польшу для иностранных инвестиций. Вскоре у нас возникло около миллиона частных предприятий.

— *Осознавали ли вы в 1988 г., что начинаете реставрировать в Польше капитализм?*

— Само слово «капитализм» было неприличным, можно даже сказать — преданным анафеме. Мы намеревались ввести экономику смешанного типа. Мы хотели добиться подлинной конкуренции между частной, государственной и кооперативной формами собственности.

— *То есть вы стремились к западногерманской модели капитализма?*

— Основная роль отводилась государственному сектору. Дело в том, что мы по-прежнему верили, что общественные мотивации сильнее эгоистических. Из идеологии вытекало, что если предприятие является общественной, государственной собственностью, то за его эффективность будут бороться все его работники, а не только владелец, думающий лишь о скорейшей прибыли. Выяснилось, однако, что общие интересы не приводят к такой эффективности, как личный интерес собственника.

— *Мы говорим о конце 80-х годов. Вы, Раковский, Вильчек осуществляете в Польше рыночные реформы. В Советском Союзе Горбачев проводит свою перестройку, в которой тоже присутствуют элементы рынка. В подобном же направлении действует Дэн Сяопин, изменяя облик Китая. Было ли это просто совпадением? Или вы совместно пришли к выводу, что реальный социализм фактически не выдержал испытания временем?*

— Фундаментальным был вопрос о собственности. Но имелась и еще одна проблема, связанная с марксистской доктриной. Руководящая, или, другими словами, ведущая роль партии. Существовали различные ее варианты, встречались суррогаты демократии. Мы ввели нечто вроде института демократических консультаций, возник Консультативный совет, мы вписали механизм проведения консультаций в конституцию, различные учреждения обросли совещательными органами, мы начали шире развивать опросы общественного мнения. Таким образом мы пытались лучше понять, чего ждет от нас общество, и пробудить его активность. Но через руководящую роль партии перескочить не удалось. Она мешала все больше и больше. Когда я просматриваю документы последних лет ПНР, я постоянно натыкаюсь на следы моих тогдашних критических выступлений, затрагивающих такие проблемы, как существовавшие в партии тенденции к главенствующей, всеохватной роли в обществе, о невозможности найти общий язык с обществом. Интересы и привычки аппаратчиков в широком смысле этого слова позволяли лишь ограниченные, косметические изменения. Не только в партии, но и повсюду все, кто обладал властью, были заинтересованы в сохранении статус-кво.

— *Которое не работало.*

— У меня все еще были надежды, иллюзии, что всё это удастся исправить в рамках системы. Например, мы приступили к осуществлению крупной, научно обоснованной операции по аттестации рабочих мест. Было известно, что в стране существовали значительные излишки рабочих мест. Мы рассчитывали, что органы рабочего самоуправления на предприятиях, партийные и профсоюзные организации сумеют определить, какие именно рабочие места являются излишними. Но гора родила мышь. Быть может, у всех были самые добрые намерения, но уволить никого не удавалось: у одного — больная жена, у другого — пятеро детей, у третьего — влиятельные знакомые. Без твердой лапы владельца, собственника, без бича безработицы не удалось повысить производительность труда и стимулировать творческую активность.

— *Когда вы это осознали?*



— Не сразу — это был длительный процесс. Однако поворотным моментом стал референдум по вопросу о втором этапе реформ, проведенный в ноябре 1987 года.

— *Проигранный референдум.*

— Мы его проиграли по своей собственной вине. Дело в том, что мы решили, что результаты будут отсчитываться в процентах от общего числа имеющих право голоса. Этот принцип нигде в мире не применялся. А если судить по обычным критериям, то большинство принявших участие в референдуме проголосовало «за»...

— *И тогда-то вы и поняли, что без твердой лапы капиталиста социализм не будет работать?*

— Я постепенно убеждался в этом все больше и больше. Мы даже еще с премьером [первого некоммунистического правительства] Тадеушем Мазовецким неоднократно говорили на эту тему. Ведь я, как президент, должен был одобрить реформы Лешека Бальцеровича. А я боялся резкого роста безработицы, социального неравенства, нищеты. Тогда Мазовецкий отправил Бальцеровича на разговор прямо ко мне. Тот успокаивал меня, что всё это будет в течение короткого переходного периода. Полгода, мол, придется помучиться, а затем все пойдет значительно лучше. А на самом деле случилось так, что выборы 1993 года «Солидарность» проиграла и к власти пришел Союз демократических левых сил [экс-коммунисты], который, правда, сохранил общее направление реформ.

— *Это был ваш триумф?*

— Никоим образом! Я же был одним из соавторов тех перемен, которые в 1993 г. избиратели в каком-то смысле отвергли. Но это показывает, насколько трудно осуществлять реформы, которые нарушают привязанность людей к социальной справедливости, равным возможностям, к государственному социальному обеспечению, к полной занятости. Нужно было пройти через слезную юдоль, если воспользоваться словами крупнейшего британского социолога лорда Ральфа Дарендорфа.

— *Было ли у вас такое утро, когда вы проснулись и решили, что социалистический часовой механизм уже невозможно исправить, что нужно эту развалину снести и начинать все строить с нуля?*

— Я, конечно, мог бы ответить утвердительно и тем самым представить себя в лучшем свете. Но я не собираюсь приукрашивать свой тогдашний образ мыслей. Я не считаю, что Польская Народная Республика оставила после себя одни развалины. Это особая тема. Но тогда у меня скорее было ощущение, что мы подошли к этапу коренных перемен. Без особой радости я поочередно соглашался на то, что казалось тогда неизбежным. Но сегодня я не знаю, всё ли было так, как надо, и каковы были негативные побочные эффекты. В конце концов, у капитализма тоже есть серьезные недостатки. Хорошей иллюстрацией может служить нынешний кризис.

— *В этом ваше отличие от Дэн Сяопина. Вы отступали перед действительностью, а он эту действительность сознательно изменял.*

— Я говорил с ним об этом во время своего визита в Китай в 1986 году.

— *И вам он тоже говорил, что неважно, какого цвета кот — черного или белого, — главное, чтобы он ловил мышей?*

— Сам он не говорил, но другие повторяли. Зато я прекрасно помню его слова, что на пути политических реформ Польша продвинулась гораздо дальше, чем Китай. У нас уже был Конституционный суд, омбудсмен, Консультативный совет, всё более активную роль играли союзные [марионеточные] партии, на крупных предприятиях широкими возможностями располагали органы самоуправления. Дэн Сяопина всё это не слишком интересовало. Он попросил, чтобы мы поделились этим опытом с их премьер-министром, который, впрочем, тоже вскоре с треском вылетел из своего кресла. А Дэн Сяопин гордился тем, что Китай дальше пошел по пути экономических реформ. Он ставил своей целью развитие экономических свобод при сохранении полного политического контроля со стороны партии.

— *Что ему, к сожалению, и удалось.*

— Дело в том, что в Советском Союзе возникла другая ситуация. После трех умерших подряд друг за другом генеральных секретарей ЦК КПСС появился такой анекдот: «На Красной площади состоялась очередная демонстрация силы, поскольку советское руководство поднялось на трибуну



мавзолея своими собственными силами». Выбор Горбачева был не так уж очевиден. Он был всего лишь секретарем ЦК, отвечавшим за сельское хозяйство. Н.А.Зенькович, бывший работник пресс-службы ЦК КПСС, написал — не знаю, правда это или нет, — что прежде чем был выбран Горбачев, прошли три заседания Политбюро. У него было два сильных соперника: Гришин, первый секретарь Московского горкома партии, и Романов - Ленинградского. Оба консерваторы. Так вот Зенькович пишет, что протоколы первых двух заседаний исчезли, а сохранился лишь протокол третьего заседания, на котором Горбачев и был избран. Решающим оказался голос Громыко: «Товарищи, у этого человека приятная улыбка, но железные зубы».

— *Иначе говоря, коммунистическую систему ликвидировал Громыко.*

— Однако поведение Горбачева поначалу не слишком противоречило характеристике Громыко. Это заметно даже в некоторых документах. В апреле 1984 г. наши тогдашние союзники по Варшавскому договору всё больше на нас нажимали, что, мол, и «Солидарность» остается недобитой, и что Церковь, что единоличники хозяйства на селе, что партия не такая, как надо... Бесперывно были по этому поводу беседы, визиты, документы. Мы не могли решительно отвергать эти обвинения, так как вследствие экономического спада 1980-1981 гг. и эмбарго, наложенного США и Западом, были слишком от них зависимы в экономическом плане. Но вот наконец нам предложили встретиться с советским руководством. Генеральным секретарем был тогда Черненко. Я знал, что говорить с ним не имеет смысла, потому что это был живой труп. В результате мы пришли к соглашению провести такое, скорее рабочее, совещание в Бресте. Как и в апреле 1981 года. Тоже в железнодорожном вагоне и тоже разговор на всю ночь. И опять-таки бутерброды и пиво. Но самое главное — такой же трудный разговор. С их стороны были Громыко и Устинов. Был опубликован протокол заседания Политбюро ЦК КПСС, на котором они рассказывали об этой встрече. В чрезвычайно критическом по отношению ко мне духе. «Он ничего не понимает... Он всё еще рассчитывает на какое-то соглашение... Пресмыкается перед Церковью. На селе нет никаких реформ... В конституцию введена частная собственность на землю... Партия не выполняет своей роли...». Ну и так далее. И тут раздаётся голос Горбачева: «Нужно посмотреть внимательно, не подумывает ли Ярузельский о каком-нибудь плюрализме». Быть может, он вполне реалистически приспосабливался к своему окружению, но возможно и то, что до более глубоких реформ он дозревал постепенно.

— *Вы наблюдали процесс этого созревания?*

— Когда он стал генеральным секретарем, было сразу видно, что это человек другого формата, с которым можно разговаривать.

— *А с Брежневым нельзя было?*

— Говорить-то можно было, но до него всё меньше и меньше доходил смысл разговора. А Горбачев — это сразу же было видно — просто ловил каждое слово, когда я говорил о причинах неудач нашей системы, о необходимости реформ, о том, что система работает плохо. В первый раз, в апреле 1985 г., мы проговорили с ним почти пять часов подряд. У меня создалось впечатление, что у него похожий взгляд на эти проблемы. О гласности или перестройке тогда не было речи. Первым его лозунгом было ускорение. То есть ускорение строительства социализма. Перестройка появилась позже. Годы спустя я спросил его, как он оценивает относительную важность этих своих трех лозунгов: ускорение—перестройка—гласность». Он ответил, что самой важной оказалась гласность. Потому что именно она подорвала позиции аппарата, который впервые увидел, что его можно публично критиковать. Поэтому ничему аппарат так не сопротивлялся, как гласности. Потому что она лишала силы миф о всеилии и безошибочности партии.

— *Аппарат тоже перестал бояться верховной власти?*

— Он начал проявлять сопротивление, что быстро стало заметно. Я с 60-х годов видел вблизи советскую верхушку — вначале в качестве первого заместителя министра обороны, затем — в качестве министра, премьер-министра, члена Политбюро и так далее. Они все эти годы пользовались ритуальными оборотами типа «Леонид Ильич сказал», «Леонид Ильич думает, что...». После Леонида Ильича так продолжали говорить об очередных генеральных секретарях. При Горбачеве это быстро кончилось. Кое-кто даже ухмылялся украдкой. А когда он начал свой антиалкогольный крестовый



поход, сопротивляться начали и простые люди. На Западе и в Польше его популярность росла столь же быстро, как она падала в России. Под конец он уже держался в основном благодаря силе бюрократической инерции системы. Тем не менее он продержался достаточно долго, чтобы произошли необратимые изменения. Потому что если бы он проиграл выборы на пост генерального секретаря или если бы аппарат сверг его раньше, то всё могло бы пойти совершенно иначе.

— *Значит, реформаторская ось Москва—Пекин—Варшава возникла случайно?*

— Быть может, путем какой-то спонтанной диффузии идей. Потому что я, например, про черного и белого кота узнал еще до того, как появился Горбачев и до того, как я побывал в Китае. Это действовало на наше воображение. Разве что китайцы правили железной рукой. А у нас, кроме зависимости от Советского Союза, были и внутренние тормозящие факторы. Одним из них был круг власть имущих, его сопротивление. Другим тормозом было общественное мнение. На различных совещаниях я все время слышал: «Когда вы наконец обуздаете этих частников, спекулянтов, разные совместные предприятия?» На протяжении многих десятилетий идеал равенства прочно укоренился в общественном сознании. Вы думаете, что рабочие во время забастовки на Гданьской судовой верфи согласились бы добавить к своему списку из 21 требования еще и пункт 22 — «приватизация», пункт 23 — «реприватизация» и пункт 24 — «возможность безработицы»? Нам пришлось постепенно приходить к убеждению, что иначе нельзя.

— *И до сегодняшнего дня не все в этом убеждены.*

— Существовал еще один тормоз. Важно было, чтобы удержался Горбачев. Я видел, что его позиции слабеют. Он сам говорил мне, что сопротивление его политике ужесточается, что, впрочем, летом 1991 г. проявилось в путче ГКЧП. Неизвестно, что бы произошло, случись этот путч за год или два до этого. До сегодняшнего дня у меня в ушах звучат слова Иоанна Павла II: «Горбачева ниспослало нам Провидение». Он сказал это во время моего визита в Ватикан в 1987 году.

— *Папа говорил о Провидении, потому что понимал, что Советский Союз невозможно реформировать и что начало реформ приведет к его неминуемому краху?*

— Вряд ли у него было подобное ощущение. Буш-старший, которого я принимал в 1987 г., тоже повторял: «Только бы Горбачев удержался...» Все за него беспокоились. Я не помню, вы сидели в тюрме в 1988 году?

— *К счастью, не сидел.*

— Тогда вы, вероятно, помните визит Горбачева в Польшу. Кроме Папы, у нас никого не встречали с таким энтузиазмом. Но ведь не потому же, что Горбачев, по сути, стал могильщиком социализма. Тогда ничто на это не указывало. Его принимали со всей сердечностью как того, кто создавал какой-то новый, лучший социализм, устанавливал партнерские отношения, расширял сферу свободы. Папа говорил мне в Вавельском замке в 1983 г.: «Я понимаю, что социализм — это реальность. Нужно, чтобы он был «с человеческим лицом»». Изменять реальность можно было лишь шаг за шагом. И потому Горбачев был для нас так важен. Ему нужна была Польша, осуществляющая реформы. Нужна была как лаборатория перемен и как доказательство того, что реформ не следует бояться. Это нас ограничивало.

— *В каком смысле?*

— В таком, что нельзя было рисковать и предпринимать шаги, которые подрывали бы позиции Горбачева. Его и так критиковали за терпимость по отношению к польским реформам или за согласие на ликвидацию «белых пятен» в истории. Мы много раз беседовали о том, как надо действовать, чтобы, внедряя реформы, не причинять друг другу трудностей. Он говорил тогда, что имеет дело с консерваторами и «кавалеристами».

— *То есть?*

— Консерваторы — это понятно. А «кавалеристы» — это те, кто хотят все сделать «с наскока» и не считают с тем, созрела ли для этого вся ситуация в целом. У нас консерваторы были еще сильны, но уже находились на оборонительных позициях. Усиливалось влияние умеренных «кавалеристов». На драматически проходившем пленуме ЦК в декабре 1988 — январе 1989-го была заменена почти половина членов Политбюро и секретариата ЦК.



— *Где на самом деле принимались решения?*

— Какие решения?

— *Ну, например, решение начать с оппозицией переговоры за «круглым столом»?*

— Мы стремились найти выход из патовой ситуации. В 1986 г. была объявлена всеобщая амнистия.

С тех пор — в отличие от многих других стран региона — в Польше не было политзаключенных. В 1988 г. Бронислав Геремек, ведущий советник Валенсы, дал интервью еженедельнику «Конфронтации», где предложил заключить «антикризисный пакт». В свою очередь Юзеф Чирек, один из моих ближайших сотрудников, на страницах того же еженедельника предложил создать «прореформаторскую коалицию». К этим знаменательным предложениям добавились мои беседы с Примасом католической Церкви в Польше, контакты министра МВД генерала Чеслава Кищака и члена Политбюро Станислава Цёсека с епископами, встреча Юзефа Чирека с профессором Анджеем Стельмаховским и т.п. Мы постепенно приближались к какой-то форме диалога, договоренности. Я знал, что к осуществлению реформ необходимо подготовить партийный актив, аппарат власти. Я ввел систему проведения в периоды между пленумами ЦК так называемых информационно-консультационных встреч. Идея заключалась в том, чтобы подготовить к осознанию необходимости принимаемых нами решений рабочих, крестьян и других, не слишком политически грамотных членов ЦК. На одной из таких встреч я выдвинул идею «круглого стола».

— *Вы хотели отдать власть?*

— Я хотел, чтобы партия поделилась властью. Но тогда я еще не думал о «Солидарности». Я представлял себе — как сказано в моем выступлении на VII пленуме ЦК в июне 1988 г., — «круглый стол» с участием ассоциаций широких кругов населения. Я выдвинул также идею восстановления Сената и внесения изменений в положении о выборах. Во время забастовок летом 1988 г. Чиреку позвонил профессор Стельмаховский с сообщением, что Валенса заинтересовался идеей «круглого стола» и что можно бы на эту тему поговорить. Примерно в этом же духе разговаривал известный адвокат Владислав Сила-Новицкий, защитник в процессах оппозиции, с генералом Кищак. Мы решили немедленно воспользоваться этими инициативами. Однако сначала нужно было объяснить нашим кадрам, почему мы хотим вступить в переговоры с Валенсой, о котором на протяжении многих лет мы говорили, что Валенса — это всего лишь частное лицо и что он никого не представляет. Я помню, как на встрече с ответственными работниками партийного аппарата кто-то прямо спросил, почему мы заваривали всю эту кашу с военным положением, если теперь собираемся вести переговоры с людьми, против которых, собственно, оно и было введено. Я ответил, что в 1981 г. мы заваривали эту кашу, чтобы не глотать огонь. А сегодня нам угрожает не огонь, но вполне реален парализующий все наши движения тупик. И поэтому сегодня нам нужно эту кашу расхлебывать. В августе 1988 г. на консультативном совещании я представил проект возобновления переговоров с Валенсой. Для аппарата гарантией безопасности было то, что эти переговоры вел генерал Кищак (который, кстати, провел их чрезвычайно умело). Вы не представляете себе, как протестовали собравшиеся. Я произнес горячую речь с просьбой о доверии, в которой пообещал, что если переговоры не будут успешными, то мы их прервем. Это как-то успокоило членов ЦК, и пленум после этого прошел уже довольно мирно.

— *Я по-прежнему не понял, кто принимал эти решения.*

— Они формировались как-то исподволь, постепенно.

— *Где?*

— В моем сознании. В сознании моих ближайших сотрудников. В кругу Раковского, Барциковского, Чирека, Цёсека, Урбана, позже — Рейковского. Ну и, разумеется, среди военных — Кищака, Сивицкого, Янишевского и других. Всё более широкий круг людей осознавал необходимость сделать подобный шаг вперед, одновременно обеспечивая безопасность и стабильность в стране. Реформаторское крыло укреплялось. Важную роль сыграли мнения таких людей, как Вятр и Верблян. Ну и видных экономистов — Баки и Садовского. Наконец, все более выходило на первый план молодое поколение во главе с Квасневским. Идея заключалась в том, чтобы сдвинуть поезд с места, но при этом не снимать руку с тормоза. Этот тормоз был также необходим, чтобы успокоить наших союзников по Варшавскому договору. Когда начался «круглый стол», я решил лично проинформировать наших



соседей о том, к чему мы стремимся. Первой состоялась поездка в Прагу — как раз в тот день, когда судили Вацлава Гавела, которого привозили на процесс из тюрьмы. У нас об этом уже не могло быть и речи. А чехи хватались за голову: «Что вы там у себя в Польше устраиваете?» Я объяснял, что это исторический эксперимент, что у нас есть вполне мощные предохранители. Но они все-таки не очень верили в эти объяснения.

— *И были правы.*

— Безусловно. Но когда я поехал обсудить этот вопрос с Горбачевым, то это был совсем другой разговор. Это не означает, что его не пришлось убеждать, что мы контролируем ситуацию. Профессор Пачковский где-то обнаружил чью-то запись этой беседы. Я якобы сказал: «Товарищ Горбачев, нечего бояться, у нас все генералы и полковники в той или иной степени прошли обучение в СССР». Это была очевидная неправда. На самом деле это относилось лишь к значительной части генералов и лишь к небольшому числу полковников — вероятно, даже к меньшему, чем сегодня учится в западных академиях.

— *Но Горбачев успокоился?*

— Он был в принципе и так спокоен, нуждался в аргументах для своих коллег. Но уже следующий разговор, с Хонеккером, был очень нервным. Весь Варшавский договор страшно беспокоился, что польские товарищи доведут дело до разрушения основ социалистической системы. А я по-прежнему заверял, что этих наших реформ опасаться не следует.

— *Тогда появилось такое выражение, что «в случае чего» вы всегда сможете «опрокинуть шахматный столик»?*

— По-моему, я такого выражения не использовал.

— *Но другие на это опрокидывание столика «в случае чего» очень рассчитывали.*

— Наверное, подспудно — да. Но я был верховным главнокомандующим, министром обороны был Сивицкий. У меня в армии была поддержка, авторитет, так что было маловероятно, чтобы без моего согласия случилось что-нибудь серьезное. В некоторых армейских кругах, самое большее, появился бы какой-то ропот недовольства. Но в общем и целом дисциплинированная и ответственная позиция вооруженных сил была своего рода защитным зонтиком для тогдашних перемен. Зато в госбезопасности генерал Кищак был инородным телом, пришедшим извне, из военной контрразведки. Он не был в курсе всего и не всё мог контролировать — как это было, например, с убийством священника Ежи Попелушко. Из госбезопасности (МВД) до меня доходили более грозные сигналы, хотя там тоже были прогрессивные люди, осознававшие необходимость перемен. Однако лобового столкновения я не ожидал. Мы твердо держали в своих руках бразды «исторического эксперимента» — который, как мы договорились во время «круглого стола», через четыре года должен бы привести к полностью свободным выборам.

— *Это была ваша идея?*

— Я не помню, чья это была идея. В нашем кругу говорили, что если реформа пройдет успешно, то через четыре года состоятся свободные выборы. Мы в этом были уверены. Впрочем, мы считали, что эти выборы мы выиграем, потому что плоды реформ уже были бы ощутимы.

— *И это сценарий фактически оказался правильным. В 1993 г. выборы выиграл Союз демократических левых сил. Но сначала был «круглый стол». Чего вы хотели там добиться?*

— Прежде всего — согласия общества на экономические реформы. Мы были слишком слабы, чтобы осуществить эти реформы самостоятельно, а оппозиция была слишком слаба, чтобы нас свергнуть. Опросы общественного мнения показывали, что мы пользовались поддержкой примерно 25% населения. «Солидарность» — примерно такой же. А примерно половина населения колебалась. Обе стороны отдавали себе отчет в том, что у них недостаточно сил, чтобы победить, а продолжать жить бесконечно в подобной ситуации невозможно.

— *Тогда вы уже понимали, что это конец? Что речь идет уже не о реформировании Польской Народной Республики, а о переходе к другой системе?*

— Мы были лабораторией потенциальной способности социализма к реформированию. Срыв реформ, резкая перемена, переворот большевизмского или робеспьеровского типа могли остановить



реформы во всех странах Варшавского договора. Представьте себе, что произошло бы в других странах блока, где были лишь группки диссидентов, если бы польский эксперимент закончился полным фиаско, особенно на румынский манер. А Польша давала обнадеживающий пример эволюции...

— *...безопасной для представителей прежней власти.*

— Более того, с вхождением их в правительственную коалицию: действительно, в правительстве Мазовецкого у нас было четыре министра, плюс я как президент с широкими полномочиями. Это облегчило проведение в других странах «бархатных революций».

— *Которые в противном случае не были бы такими «бархатными»?*

— Скорее всего, они бы вообще не произошли еще долго. Потому что население тех стран не бунтовало, а Запад не оказывал на них никакого давления. Запад опасался хаоса, резкого изменения соотношения сил. Я помню свою поездку в Лондон весной 1989 г., когда г-жа Тэтчер незначай подвела меня к камину, взяла за пуговицу и сказала: «Нельзя соглашаться на воссоединение Германии. Нам это трудно сказать открыто, но вы должны сопротивляться». Когда мы с премьером Мазовецким приехали во Францию, оказалось, что президент Миттеран занимал чрезвычайно схожую позицию. Ни у кого тогда не было и тени ощущения, что это конец.

— *Я помню один такой момент в 1989 г., между Рождеством и Новым годом. Я тогда был пресс-секретарем Бронислава Геремека. Он нас внезапно созвал на совещание. Оказывается, он готовил проект внесения поправок в конституцию и ехал представлять вам этот проект. Без вашего согласия изменение конституции было невозможно. Речь шла о смене режима — конец руководящей роли партии, исключение фразы о нерушимой дружбе с Советским Союзом, возврат к названию страны — Польская Республика. Мы думали, что вы рассвирепеете. А вы приняли эти поправки в принципе без возражений. Это было полной неожиданностью, так как тем самым вы подписали смертный приговор системе, которой служили всю свою жизнь.*

— Я только попросил — раз уж мы вычеркиваем слово «социализм» — вписать в конституцию формулировку «социальная справедливость». Для левых сил эти слова имеют решающее значение. Фраза о дружбе с Советским Союзом при Горбачеве уже была необязательна.

— *Но руководящая роль партии была сутью этой системы.*

— Я уже так не считал. Если бы вы почитали мои выступления 80-х годов, вы бы убедились, что я призывал к весьма умеренной трактовке руководящей роли партии. И я не сожалею об этих выступлениях.

— *Это был формальный конец советского варианта социализма в Польше.*

— Формальный — да, но по-прежнему ничего еще не предreshавший. Если бы вокруг не произошло все то, что произошло, отсутствие этих конституционных положений ничего не изменило бы.

— *Но в Польше уже всё изменилось. Премьером уже был Мазовецкий, «Солидарность» была легализована, Берлинская стена пала, план Бальцеровича вы уже ранее одобрили, а вскоре он был принят Сеймом, на Варшавский договор трудно было рассчитывать.*

— Я не рассматривал политику догматически. Конституция была, разумеется, важна...

— *... потому что давала вам право опрокинуть столик?*

— Что это вы, право, опять со своим столиком...

— *Всё, что произошло, нарушало закрепленное в конституции политическое устройство. Мы боялись, что вы это используете и снова поступите, как в 1981 году.*

— Мне это даже в голову не пришло. Будучи президентом, я мог в любой момент распустить парламент, но в этом не было необходимости.

— *Почему?*

— Как я уже говорил, нам обязательно нужно было осуществить весьма болезненные реформы. И сделать это мы могли только совместно. Оппозиция в составе правительства была столь же необходима, как и я в качестве президента. Только представьте себе, что бы было, если бы летом 1989 г. президентом стал Лех Валенса? В конце концов, из-за этих реформ в 1990 г. Мазовецкий проиграл на президентских выборах не только Валенсе, но и никому не известному бизнесмену из Перу Тыминскому. Что было бы, если бы я в 1990 г. взошел на трибуну и воскликнул: «Не об этом мы



договаривались! Не должно было быть социально-экономического неравенства, несправедливости, безработицы». Вы думаете, что те люди, которые кричали «Коммуна, вернись!», не подхватили бы подобные лозунги? Разумеется, это был бы политический авантюризм. Провести Польшу через эти реформы было легче мне, чем Валенсе, который по-прежнему был руководителем профсоюза. Ведь если бы Валенса в 1989 г. начал осуществлять историческую социально-экономическую программу «Солидарности», то проведение столь всеобъемлющих, но и столь болезненных экономических реформ было бы значительно затруднено. Могу лишь добавить, что наше длительное сопротивление легализации «Солидарности» как профсоюза имело причиной главным образом боязнь повторения экономической катастрофы 1980-1981 гг. Тем более что Общепольская ассоциация профсоюзов (ОПЗЗ), организация вполне левого толка, просто-таки старалась перешагнуть оппозицию, выдвигая всё новые и новые требования. Изменение политической системы, государственного строя должно было быть эволюционным процессом.

— *Я часто задавался вопросом, почему вы так легко уступили Валенсе, предложив в сентябре 1990 г., всего через 14 месяцев после вступления в должность президента, законопроект, направленный на сокращение срока полномочий президента.*

— Это был логичный элемент всего этого процесса. Поезд руками не остановишь.

— *После выборов июня 1989 г. генерал Кищак сказал нам, что не чувствует себя в безопасности, потому что-де «в аппарате и силовых министерствах всё бурлит». Это были пустые страхи или на самом деле так оно и было?*

— Было. В армии — слабее. В МВД — сильнее. Потом была напряженность, когда не удалось сформировать правительство Кищака, Баки, Малиновского и возникло правительство Мазовецкого. С этого момента пути назад уже не было. Но если это был не Мазовецкий, могли быть и иные реакции. Он был известен — впрочем, совершенно справедливо — как человек серьезный, ответственный, осторожный.

— *Почему вы предпочли Тадеуша Мазовецкого Брониславу Геремеку или Яцеку Куроню, которых Валенса вам тоже предлагал?*

— Валенса назвал эти три кандидатуры. Куроня (а также, следует добавить, и Михника) я все еще считал весьма спорной фигурой. Геремек был историком, интеллектуалом. А у Мазовецкого был опыт депутатской работы в Сейме ПНР. Он был знаком с механизмами власти. Кроме того, мы знали, что он человек умеренный, но в то же время последовательный, даже упрямый. Я полагал, что сопротивление его кандидатуре будет сравнительно минимальным. Фигура Мазовецкого должна была смягчить шок от того, что через полвека пребывания у власти мы отдаем пост премьер-министра. А логическим следствием этих очередных шагов был мой отказ от поста президента. Я сам предложил это Мазовецкому. Впрочем, вы знаете, что я не хотел быть президентом. Я отказался от этого предложения в пользу генерала Кищака. Но тогда начались разные резолюции — от членов партии, военных, милиции, ветеранов, — что я должен выдвинуть свою кандидатуру.

— *И вы позволили себя уговорить.*

— Важную роль здесь сыграла позиция президента Буша, который как раз тогда приехал в Польшу. В своих мемуарах он написал, что уговаривал коммунистического лидера выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, потому что он мог гарантировать эволюционный процесс выхода из этого трудного периода. Я не хотел этого поста. Я вполне осознавал, что мое президентство будет иметь переходный характер.

— *Вы уже не должны были держать руку на тормозе?*

— Ситуация, как мне представлялось, стабилизировалась. Было правительство Мазовецкого. Вокруг нас произошли «бархатные революции». В парламенте имелось соответствующее большинство. По правде говоря, я предполагал, что после моей отставки президентом станет Мазовецкий. Быть может, тогда бы нам удалось избежать различных сюрпризов. Валенса был политическим феноменом, прирожденным лидером, но Мазовецкий, без всякого сомнения, лучше подходил для поста президента. Весной 1990 г. я в первый раз сообщил ему, что могу подать в отставку. Он мне советовал еще не уходить. Он считал, что этого требует общая ситуация.



— *Чтобы держать под контролем силовые структуры?*

— Да, но еще и потому, что президентство Валенсы тогда казалось ему еще преждевременным, а сам он не был уверен в том, что будет кандидатом. Он считал, что пока что я создаю лучшее прикрытие для трудных реформ. Потом, в начале сентября 1990 г., я говорил о возможности своей отставки с примасом Польши, кардиналом Юзефом Глемпом. Валенса уже публично выражал свое нетерпение. Братья Качинские накаляли атмосферу. Я не хотел быть препятствием. Примас предложил провести встречу в более широком кругу. Были епископы, Валенса с братьями Качинскими, я, Чирек, Янишевский и, возможно, кто-то еще. Один из братьев Качинских даже подошел ко мне и сказал, что мы на самом деле соседи, потому что их родословная уходит в деревню Качин — всего в нескольких километрах от родового поместья Ярузельских. Качин состоял из дворов мелкопоместной шляхты. Там почти все носили фамилию Качинский. Так вот, на этой встрече Валенса настаивал, что нужно ускорить события, так как люди не понимают, почему я до сих пор остаюсь президентом. Я отвечаю: ради Бога, давайте сделаем это в рамках досрочных выборов. Примас вел себя гибко. Это, вероятно, Валенсе не понравилось, потому что, уходя, он попрощался со мной, а к примасу не даже подошел. Дело закончилось тем, что 19 сентября я представил в Сейм законопроект, сокращающий срок полномочий президента, а уже в декабре Валенса стал президентом.

— *Вы удовлетворены тем, что всё произошло так, как произошло?*

— Да.

— *Действительно?*

— Действительно! Быть может, я долго до этого доходил, но теперь я убежден, что Польша находится на своем месте и что она в принципе такова, какой она должна быть, но что самое важное — она входит в состав европейского политического и экономического сообщества.

— *Вам такая Польша действительно нравится?*

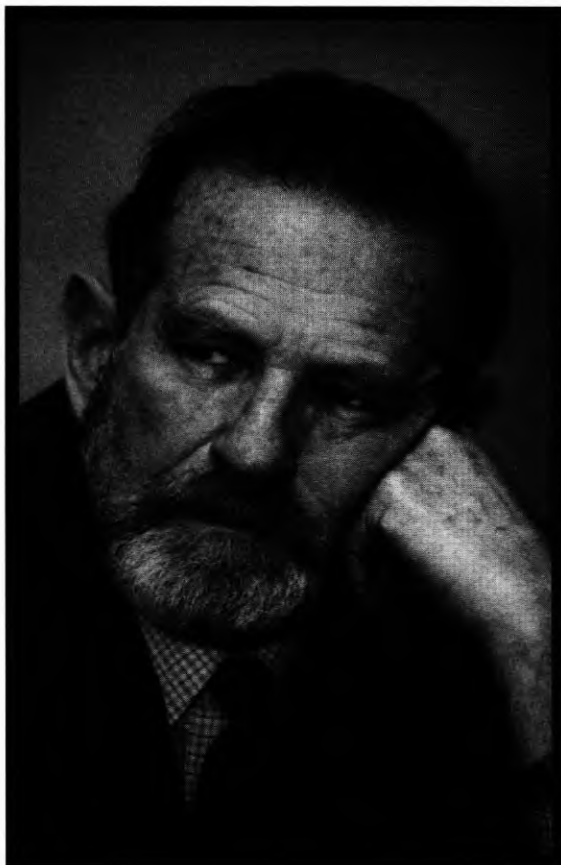
— Больше, чем предыдущая. Хотя Черчилль был прав, когда он говорил о демократии, что это худшая форма правления, за исключением всех остальных. Я думаю, что это утверждение можно также отнести и к капитализму.

Беседу вел Яцек Жаковский

POLITYKA



ВОСПОМИНАНИЯ О БРОНИСЛАВЕ ГЕРЕМЕКЕ



Хавьер Солана:

Бронислав Геремек был необыкновенной личностью. Признанный ученый и выдающийся государственный деятель, истинный патриот Польши, одновременно считавший себя настоящим европейцем; для него была характерна высокая степень идейности и политической активности.

Он был образцом активного мыслителя, защищающего человеческое достоинство и свободу, а также право каждого иметь собственные взгляды. Как он когда-то сказал: «Если бы я жил на Западе, то, по всей вероятности, никогда не включился бы в политику, так как это деятельность по отправлению власти. Однако здесь, в Польше, интеллигент вынужден включиться в политику, ибо мы боремся за самое свободу думать».

Геремек пытался приблизить перспективу вступления Польши в Евросоюз. Правительство, в котором он занимал пост министра иностранных дел, оказалось одним из самых действенных и эффективных польских правительств времен преобразований. Геремек страстно защищал интересы своей родины, при этом обладал способностью видеть ситуацию в более широкой перспективе.

Как человек компромисса (впрочем, это качество оценивается в Европе многими народами и традициями как достоинство) он утверждал, что сила его страны связана с силой Евросоюза.

Борис Тарасюк:

Он был знатоком Центральной и Восточной Европы, прекрасно относился к Украине и приложил немало усилий для углубления сотрудничества между нашими странами и достижения двустороннего соглашения.

Бронислав Геремек был не просто «партнером» Украины — он любил ее, он верил в ее потенциал и считал граждан Украины и Польши братьями. Он разделял наше стремление к демократическому пути развития, нашу преданность правде и свободе...

Юбер Ведрин:

Возможность познакомиться с ним ближе появилась тогда, когда мы в одно и то же время заняли пост министра иностранных дел и начали сотрудничать друг с другом. Я занимал должность министра во Франции с июня 1997 по май 2002 г., он — в Польше с ноября 1997 до весны 2000-го. Я очень хорошо помню мое пребывание в Варшаве спустя три дня после его назначения. Он был тогда очень счастлив, что первым гостем, пришедшим к нему с визитом, стал французский министр. Он был



счастлив, растроган и выглядел несколько затерявшимся в здании министерства, которое недавно возглавил. Однако все время он руководствовался идеей создания демократической Европы, частью которой должна быть Польша, связанная крепкими узами дружбы с Францией. Во время пресс-конференции журналисты меня спрашивали: «Можете ли вы подтвердить великодушное обещание президента Ширака (который считал, что он должен повторить обещание, данное Гельмутом Колем), что Польша войдет в Европейский Союз в 2000 году?». Я знал, что этот момент наступит... немного позже. Поэтому я ответил: «Это общая надежда Польши и Франции, а также стимул для участников переговоров». При этих словах Бронислав улыбнулся.

Признаюсь, между нами существовали тонкие различия и даже расхождения во взглядах. Но если и были разногласия, то без личной вражды — они были обусловлены скорее польско-французскими различиями, которые легко объяснить, зная историю обеих стран.

Его концепция Европы, которую я считал слишком идеализированной, была основана на альтруистическом пути преодоления национальной действительности. Я, со своей стороны, уже тогда самым важным считал, что, формируя «федерацию национальных государств», нужно не обесценивать понятной всем привязанности народов к своему национальному облику и не предлагать им отречься от себя с целью сплавиться в общем котле, как этого требовали вульгаризированные профедералистские и проевропейские концепции, но собрать и сплотить свои силы вокруг разработки конкретных проектов. Герemek жил и работал во Франции довольно долгое время, и поэтому он понимал наше прагматическое отношение к России. Однако все время он сохранял польскую бдительность.

Сэр Малкольм Рифкинд:

Профессора Геремек я встретил впервые в несколько необычных обстоятельствах. Мы познакомились за чашкой чая в британском посольстве в Варшаве. Он был в то время одним из выдающихся членов «Солидарности», тогда организации нелегальной. Я был замминистра иностранных дел Великобритании. Эта встреча не принадлежала к разряду рядовых, в которых участвуют дипломаты и министры во время официальных визитов за границу.

Был 1984 год, а в Польше правил генерал Ярузельский и коммунисты. Ярузельский был так взбешен тем, что я встретился с Геремekom и двумя его товарищами, что отменил аудиенцию и обвинил меня в том, что я рассматриваю Польшу как британскую колонию. И по-своему он имел право вспылить. Тогдашней стратегией коммунистов был запрет деятельности в пользу «Солидарности»: отказывая ей в легальности, ее хотели сделать незначительной и слабой организацией — как в Польше, так и в глазах международной общественности. Однако то, что это удалось бы, представляется спорным.

Моя встреча с Геремekom и его товарищами имела гораздо большие последствия, чем мне казалось. В то время я был лишь заместителем министра, но по стечению обстоятельств недель позже Варшаву должен был посетить западногерманский министр иностранных дел Ханс Дитрих Геншер. Он не собирался встречаться с нелегальной «Солидарностью», но из-за довольно широкой известности, которую получила моя встреча с Геремekom, изменил свои планы, и его встреча с ней также состоялась.

ЕВРОПА

*журнал Польского института международных дел,
том 8, №2(27), 2008*



Болеслав Бальцерович

ПОЛЬСКИЕ ГОДОВЩИНЫ: НАТО

История, в том числе и новейшая история, особенно ясно напоминает о себе по случаю круглых дат и годовщин, при всевозможных юбилеях. В 2009 г. исполняется двадцать лет со времени польского «круглого стола», который дал первоначальный импульс целой полосе событий, процессу преобразований общественного строя, а затем и демонтажу социалистической системы; в этом же году исполняется десять лет с момента вступления Польши в Североатлантический союз. Это два знаменательных юбилея, которые напоминают о событиях, решающих для дальнейшего обновления страны, о поистине исторических событиях. Прилагательное «исторический», которым в публицистике и политике часто злоупотребляют, здесь более чем уместно и адекватно.

Двадцать лет назад, в начале 1990-х, когда менялась Польша и менялся ее строй, одновременно радикальным образом менялось ее геополитическое окружение. После распада Варшавского договора, а затем и Советского Союза на смену прежним трем ее соседям пришли семь новых. На западе ГДР стала частью объединенной Германии, то есть государства-члена НАТО. На востоке вместо СССР появились четыре новых государства: Россия, Литва, Белоруссия и Украина. После распада Чехословакии соседями Польши на юге сделались еще два новых государства. Таким образом, хотя наши границы не изменились, в течение короткого периода мы оказались среди полностью поменявшихся соседей. Геостратегическое положение Польши подверглось фундаментальному изменению.

Распад Варшавского договора означал конец просуществовавшей почти столетия военно-политической конструкции — с Польшей, находившейся в этом строю на предназначенном ей месте. Перестал функционировать характерный для холодной войны двухполюсный международный порядок. Теряло свое значение одно из оснований сложившейся в прошлом системы безопасности — равновесие сил (равновесие страха). После разрыва прежних союзнических связей Польша очутилась в «серой зоне».

Сознание огромных перемен было тогда всеобщим и повсеместным; впрочем, было бы трудно их не заметить. Зато направленность этих перемен и их последствия оставались неизвестными, трудно предсказуемыми. Сильным (и обоснованным) был страх хаоса и неразберихи, сопровождающих процесс демонтажа социалистической системы, в особенности распада Советского Союза, Югославии, а также возможности распада других государств. Сильным являлось чувство если не угрозы, то неуверенности. Поэтому вполне понятна тогдашняя особая чувствительность к вопросу о гарантиях безопасности.

Обеспечение безопасности государства представляло собой очевидное условие успеха тех реформ, которые предприняло правительство Тадеуша Мазовецкого. Их сущность, их цель состояла в том, чтобы добиться изменения государственного строя. Во внешней политике этого правительства самым важным делом было вернуть государству полный суверенитет. Это означало принципиальную перестройку его основ, геополитическую переориентацию — ориентацию на Запад. Процесс преобразования общественного строя был с самого начала нацелен на западные образцы либеральной демократии, на рыночный капитализм. Таким образом, новая, западная устремленность польской политики затрагивала различные аспекты общественного устройства, а также носила (в некотором смысле) идеологический характер. И, хотя потребность в обеспечении собственной безопасности представляла собой наиболее ясный и понятный мотив стремления войти в НАТО, наряду с этим столь же существенное, по-настоящему принципиальное значение имела тогда сама сущность преобразования общественного строя, а также стремление вновь обрести полный суверенитет.

Выход из восточного блока, который формально произошел вместе с роспуском Варшавского договора в 1991 г., означал, что страна оставалась в ненадежной и грозящей дестабилизацией части Центральной Европы. В этой зоне Польша, подобно нескольким другим государствам региона, ока-



залась вне всяких союзов. Кроме того, она не сумела сразу же обеспечить себе ни солидных гарантий безопасности, ни договоренностей, которые бы их подкрепляли. При такой ситуации в Польше, Чехословакии и Венгрии нарастала убежденность в том, что, кроме Североатлантического союза, не существует никакой другой организации, дающей солидные гарантии безопасности. В Польше идея вступления в этот союз была выражена в категориях стратегической цели в 1992 г., когда были выработаны «Принципиальные положения польской политики безопасности». Полное согласие всех политических течений относительно атлантической ориентации и необходимости предпринять усилия, направленные на членство в НАТО, было достигнуто в 1993 г., — интересно, что это произошло в тот момент, когда правительство сформировали экс-коммунисты.

С желаниями, а затем устремлениями Польши, Чехии и Венгрии (в определенной мере также и новообразованного государства — Словакии) сталкивалась непростая, но постепенно эволюционировавшая позиция Североатлантического союза. Изменение точек зрения его членов — от неприязненности и нежелания до полной открытости — характеризовалось поочередно: принятием новой «Стратегической концепции», созданием Североатлантического совета по сотрудничеству (НАСС), инициативой «Партнерство ради мира», подготовкой «Исследования о расширении НАТО».

Реальное осуществление такой официально зафиксированной стратегической цели, как членство в НАТО, означало необходимость предпринять скоординированные усилия — политические, дипломатические, организационные, военные. Прежде всего надлежало учиться, овладевать знаниями о НАТО; учиться, начиная с самых общих понятий: с сущности, духа, характера этой организации — и заканчивая штабной культурой, структурами, компетентностью, доктринами, процедурами и т.д.; следовало понять, что собой представляет Североатлантический союз. Перед оборонительной системой Польши, перед польской армией встала задача глубокой внутренней перестройки, практически охватывающей почти все сферы их функционирования — начиная со стандартов гражданского контроля и вплоть до достижения требуемого уровня оперативного взаимодействия, то есть способности к совместному планированию и совместному ведению тех или иных действий.

В НАТО мы вступали с определенным багажом опыта и навыков, вынесенных из Организации Варшавского договора (ОВД). И с изумлением открывали глубокие различия между этими двумя организациями. ОВД уже не только в свете классической дефиниции союза выглядела как организация, в значительной степени «союзоподобная». Первые же контакты с военными институтами и органами командования НАТО позволяли отчетливо, наглядно осознать, что такое на практике многонациональность этого союза. О том, насколько по-разному она выглядела в ОВД и НАТО, свидетельствовали не только цифры. В военных структурах Организации Варшавского договора до середины 1980-х не существовало никаких других многонациональных военных структур, кроме штаба объединенных вооруженных сил (органа, без всяких преувеличений, далеко не штабного, а попросту декоративного) и технического комитета. Только в середине 80-х в ОВД были образованы органы командования театрами военных действий (в частности в Легнице); в этих командно-штабных органах полностью доминировал советский персонал. В НАТО многонациональными были главная квартира, два органа стратегического командования (АСЕ, или Союзное командование НАТО в Европе, и ACLANT, или Союзное командование НАТО на Атлантическом океане), региональные органы командования, подчиненные им органы командования составляющими элементами (родами войск), несколько органов командования армейскими корпусами, центры управления воздушным пространством. В общей сложности тогда в структурах НАТО функционировало свыше 70 многонациональных штабов*. В девяностые годы многонациональность вырастала в новых концепциях НАТО до уровня базового принципа. С иной стратегической культурой, иной штабной культурой — от стандартов поведения до способов вырабатывания решений — мы столкнулись уже в процессе, предшествующем вступлению в НАТО.

Повсеместно распространенные представления о том, каково значение членства в НАТО для Польши, в ту пору не выходили по существу за рамки пятой статьи Вашингтонского договора (впрочем,

* В настоящее время, после реформы военных структур НАТО, это количество значительно уменьшилось. — Здесь и далее прим. автора.



статьи ключевой). В стране отчетливо доминировали ожидания гарантий безопасности. Только со временем нарастало осознание того, что членство в НАТО не означает одного лишь «потребительства», что оно одновременно означает готовность и способность вносить свой вклад.

В тот период, когда Польша и другие страны прилагали усилия, направленные на членство в НАТО, сама эта организация подвергалась существенным внутренним преобразованиям, причем проводившиеся там изменения были настолько глубокими, что их без всякого преувеличения начали определять понятием «преобразования». Следует напомнить, что, представляя собой реакцию на геостратегические перемены, эти преобразования в начальный период сопровождались дебатами о смысле существования НАТО. Существенным признаком перелома в этих дебатах принято считать радикальное по своему содержанию предложение аналитиков из корпорации РЭНД, сформулированное к середине 1993 г. в виде лапидарной директивы: «NATO must go out of area or it will go out of business»* («НАТО должно выйти из [прежней] зоны, иначе оно выйдет из игры»). Эти слова не утратили смысла и по прошествии еще полутора десятков лет. В переложении на язык стратегической концепции и на практику они означали так называемое тройное расширение**. Понятие тройного расширения охватывало: прием новых членов из числа бывших государств Варшавского договора; институционализацию сотрудничества со всеми другими посткоммунистическими странами; оперативную деятельность. Иными словами, всё это означало территориальное расширение Организации Североатлантического договора и ее функциональное расширение.

Территориальное расширение практически стало фактом уже в 1997 г., когда государства-члены НАТО пригласили Польшу, Чехию и Венгрию приступить к переговорам о членстве. В вопросе о расширении сферы институционализированных действий в пользу безопасности первоначально появилась программа «Партнерство ради мира», а затем — установление (с 1997 г.) особых отношений с Россией и Украиной («Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности Россия — НАТО» и «Хартия об особом партнерстве НАТО — Украина»).

Функциональное расширение осуществилось на практике в 1995 г. вместе с вмешательством сил НАТО в Боснии и Герцеговине. Это был переломный момент в истории НАТО. После почти полувекового периода «стояния с оружием в полной боевой готовности» союз перешел к действию, предприняв свое первое вооруженное вмешательство. Четыре года спустя силы НАТО, приняв участие в обуздании кризиса в Косове, провели военную операцию против сохранившегося остатка Югославии.

Военная операция в Югославии началась через несколько дней после вступления Польши в НАТО. Тем самым мы уже в первые дни своего членства получили наглядный урок того, чем является, а на самом деле — чем становится НАТО и как много упрощенных представлений и надежд нам следует пересмотреть. Очередной наглядный урок мы почерпнули после террористических атак на США. Теперешний урок на протяжении нескольких лет проходит в Афганистане.

Уже длительное время НАТО проходит постоянные, прямо-таки безостановочные преобразования. В результате из союза, занятого главным образом планированием военных действий в Центральной Европе, оно превратилось в эффективную, оперативно действующую организацию с весьма дифференцированным спектром задач. История перемен, происходящих в течение последнего десятилетия, отмечена постановлениями очередных «саммитов» — в Праге, Риге, Стамбуле, Бухаресте. Ключевыми вопросами в процессе трансформации союза всё это время оставались и по-прежнему остаются его верность себе, внутренняя целостность, функции. Вот уже много лет НАТО — не только союз в чисто дефинитивном значении этого понятия. Благодаря расширению своих функций оно приобрело целый ряд свойств, присущих организации коллективной безопасности.

Произошло существенное переопределение его функций. В период холодной войны НАТО выполняло в международных отношениях прежде всего классическую для подобных союзов функцию равновесия. В военном аспекте это была оборонительная функция. На современном этапе в число первостепенных выдвигается функция стабилизации международной обстановки. В географическом

* Asmus R.D., Kugler R.L., Larrabee F.S. Building a New NATO // Foreign Affairs, 1993, Sept.-Nov.

** Этот термин в польской научной литературе первым использовал проф. Р.Кузняр.



пространстве рамки этой функции последовательно обозначают: договорную территорию НАТО; территории государств, охваченных институциональным сотрудничеством; территории, охваченные такими кризисами, которые угрожают безопасности членов НАТО.

НАТО в динамично меняющейся среде безопасности, НАТО перед лицом новых вызовов и угроз оказалось институтом, чья жизнеспособность вызывает удивление, институтом, прекрасно адаптирующимся к новой действительности. Сегодня этот шестидесятилетний альянс, отмечая свой юбилей, полон задорной энергии и не обнаруживает никаких черт или атрибутов пенсионера. Напротив, он демонстрирует удивительную силу самоподдержания и притяжения. Источник этой силы заключается не только в его политическом и военном потенциале либо в факторах, усиливающих этот потенциал, но также (а может быть, прежде всего) в общности всей системы ценностей, близости культур, в экономических связях. Сила его притягательности в большой степени состоит в том, что НАТО (точно так же, как и Евросоюз) воплощает привлекательную западную модель развития. Это демократическая модель. Сегодня в НАТО нет места для стран, которые управляются авторитарно.

Хотя прочность и жизнеспособность союза вытекают в значительной мере из привязанности к нему (консерватизма) «старых» членов НАТО и той магии, которая позволяет ему притягивать потенциальных новых членов, эти качества, бесспорно, еще больше проистекают из его полезности. Принадлежность к НАТО служит его членам самой лучшей на сегодняшний день формой военного предохранения против любых угроз — как давно распознаваемых «классических», так и совершенно неизвестных. Членство в НАТО отпугивает и сдерживает потенциальных агрессоров. Союз служит принадлежащим к нему странам неким «страховым полисом» на случай военно-политического кризиса или различных ситуаций, связанных с боевыми действиями. Он великолепно способствует стабилизации, прочным отношениям между странами-членами, снижает потребность во внутренней конкуренции применительно к сфере безопасности. В политическом аспекте он представляет собой хорошую форму защиты малых и средних государств от возможности стратегической договоренности крупных держав «поверх головы» небольших стран и с ущербом для их интересов. Разумеется, полезность НАТО для его членов имеет также и свое экономическое измерение.

На протяжении первых сорока лет НАТО подтвердило свою силу, выйдя победителем из холодной войны. Оно выдержало испытание, защищая своих членов от агрессии и благоприятствуя интеграции Западной Европы. Позже этот альянс выдержал еще один экзамен, внося существенный вклад в процесс трансформации государств Центральной и Восточной Европы.

В новом международном порядке НАТО сделалось одной из наиболее значительных организаций, действующих ради безопасности, ради стабилизации международной обстановки. Надлежит, однако, заметить, что в настоящее время стабилизационная функция союза проявляется не в том, что он представляет собой классический военный противовес, а в осуществлении институционализированных форм сотрудничества и в кризисном реагировании на территориях, важных для членов НАТО. Располагая структурой интегрированного командования, НАТО оказалось эффективной организацией в деле налаживания и проведения крупных многонациональных операций с участием государств, которые не состоят его членами. Так было в Югославии, так происходит сегодня в Афганистане.

Среди всех международных организаций НАТО — единственная, полностью способная добиваться исполнения любых решений международных институтов в сфере военной безопасности.

Состояние НАТО в год его юбилея можно определить как относительно хорошее. (В этой далекой от точности фразе заключена не только более или менее объективная оценка, но и субъективное беспокойство, озабоченность «спортивной формой» союза, выражаемая автором-поляком). У Организации Североатлантического договора есть свои проблемы, неприятности, «головные боли». В текущий момент проблемой, выдвигающейся на передний план, выступает удачный/неудачный исход операции в Афганистане. Это операция сопряжена с большим риском, и существуют серьезные опасения насчет ее последствий, а успех в ней отнюдь не предопределен. Хотя ее безусловно следует рассматривать как специфический тест нынешнего состояния НАТО, она вовсе не обязательно должна служить тестом, который определяет, «быть или не быть» этому союзу. Не вызывает, однако, сомнений, что, каким бы ни стал конечный результат стабилизационной операции в Афганистане, НАТО извлечет из



неё важные уроки, напрямую касающиеся его верности себе. Афганистан уже сейчас учит (должен учить!) определенному смирению, стратегической скромности. Учит тому, насколько трудно предвидеть последствия вовлеченности в гражданскую войну, где союз становится одной из сторон.

В категориях проблемы (хотя необязательно трудной или головоломной) можно рассматривать и подготовку новой стратегической концепции НАТО. Прежняя, принятая десять лет назад, многократно дополнялась на очередных саммитах своеобразными протезами и безусловно уже слишком сильно утеряла свою актуальность. Среди фундаментальных проблем, которые понадобятся каким-то образом решить и изложить в новой стратегической концепции, первоочередное значение имеет отыскать удовлетворяющую всех членов НАТО сбалансированность между его политической и военной функциями, между функциями обороны и стабилизации (действий за пределами договорного пространства). Разрешение этих дилемм сопровождается осмыслением того, что чрезмерно расширять функции, принимать на себя разнородные по своему характеру задачи, а также избыточно и непродуманно увеличивать число членов организации — всё это грозит возросшим риском дезинтеграции, ослабления ее внутренней монолитности и единства. Почин новых, невоенных операций, нетипичных для армии, может неблагоприятно отразиться на готовности к выполнению основной задачи — обороны территории.

Успешно осуществляя многочисленные новые начинания, НАТО прокладывало новые пути. Никакая другая организация и никакое другое государство не принимали до сих пор столь сложных вызовов. По существу союз во многих отношениях стал жертвой своих собственных успехов. Связанные с ним ожидания и надежды могут превышать его возможности. Ведь существуют границы того, что НАТО в состоянии делать, и существует также опасность, что союз может поколебать свою позицию и сплоченность, возлагая на себя нечто большее. НАТО — наверняка не глобальный полицейский, не помогающая всем и каждому гуманитарная ассоциация, не альтернатива ООН. Однако этот союз несомненно способен видоизменяться. И нужно согласиться с тезисом, сформулированным на саммите в Бухаресте (2008): самому НАТО нет альтернативы, а правильно поставленный вопрос о его будущем состоит в поисках решения, что нужно делать, чтобы эта организация стала еще более эффективной.

Среди мотивов и причин вступления Польши в НАТО основополагающее значение имели две. Первой было получение сильных, достоверных и надежных гарантий безопасности; второй — подтверждение собственного суверенитета и стремления вернуться в круг западных демократий. Присоединение к Североатлантическому союзу представляло собой принципиальный шаг к преодолению того порядка, который сложился в годы холодной войны. Членство в НАТО служило прочным фундаментом безопасности страны. Оно означало укрепление новой польской демократии. И облегчило прохождение пути к членству в Евросоюзе.

После десяти лет членства в НАТО практически никто в Польше не отрицает тех очевидных выгод и преимуществ, которые оно нам приносит. В первую очередь это политические, военные, экономические выгоды. Благодаря союзу мы находимся в большей безопасности и стали сильнее; мы достигли также возросших возможностей влиять на всё, что происходит на международной арене.

Сегодня вопрос об альтернативе членству Польши в Североатлантическом союзе может носить лишь риторический или академический характер. Дебаты на эту тему окончательно завершились в 1993 г. С того момента существует полное согласие всех политических группировок, вначале — по поводу вступления, а потом — по поводу членства в Североатлантическом союзе. В этом деле партии располагают полной общественной поддержкой. В Польше, как и во всех странах-членах, практически никто не жалеет о пребывании в НАТО.

Болеслав Бальцерович — дивизионный генерал (генерал-лейтенант) в отставке, профессор Варшавского университета, доктор военных наук.



Вислава Шимборская

Перевод Андрея Базилевского

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Девочка-подросток

Я — девочка-подросток?
А если вдруг здесь, сейчас она предстанет предо мной,
должна ли я приветствовать в ней близкое существо?
Ведь она мне чужая, далёкая.

Уронить слезу, чмокнуть в лобик
исключительно по той причине,
что у нас одна и та же дата рождения?

Между нами столько несходства,
что, наверно, совпадают только кости,
свод черепа да глазные впадины.

Ведь даже глаза у неё как будто немного больше,
ресницы длиннее, ростом она выше,
всё её тело туго обтянуто
безупречно-гладкой кожей.





Правда, у нас общая родня и знакомые,
но в её мире почти все живы,
а в моём нет почти никого
из того общего круга.

Мы так отличаемся друг от друга,
совершенно о разном думаем и говорим.
Она знает мало — зато знает точно,
с уверенностью, достойной лучшего применения.
Я знаю гораздо больше —
однако не наверняка.

Она показывает мне стихи,
записанные старательным, чётким почерком.
Я таким не пишу уже много лет.

Читаю эти стихи, читаю.
Ну, может быть, только одно, вот это,
если его сократить
и кое-где подправить...
Остальные ничего хорошего не сулят.

Разговор не клеится.
На её скромных часах
время пока ещё дёшево и неопределённо.
На моих оно гораздо точнее и дороже.

На прощанье — ничего. Мимолётная улыбка
и никакого волнения.

Только когда она исчезает
и впопыхах оставляет свой шарф...

Шарф из настоящей шерсти,
в цветную полоску,
наша мама
связала его для неё крючком.

До сих пор его храню.





Мысли, настигающие меня на оживлённых улицах

Лица.

Миллиарды лиц на поверхности мира.
Вроде бы каждое не такое,
как те, что были и будут.
Но Природа — кто её знает, —
возможно, устав от непрерывной работы,
повторяет свои прежние замыслы
и накладывает нам лица,
уже кем-то когда-то ношенные.

Может быть, мимо тебя проходит Архимед в джинсах,
царица Екатерина в тряпках с распродажи,
какой-нибудь фараон с портфелем и в очках.

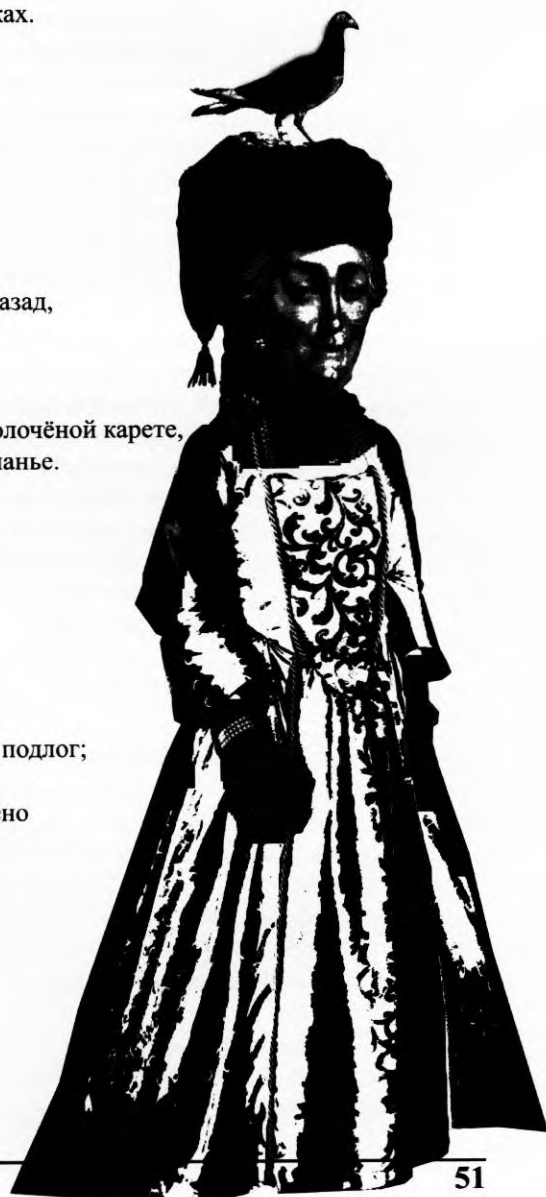
Вдова босого сапожника
из маленькой ещё Варшавы,
мастер из пещеры Альтамира —
с внучками в зоопарк,
косматый варвар — по пути в музей,
чтоб малость там повосхищаться.

Какие-то люди, погибшие двести веков назад,
пять веков назад,
полвека назад.

Кто-то, кого провезли по этой дороге в золочёной карете,
кто-то, кого провезли в товарняке на закланье.

Монтесума, Конфуций, Навуходоносор,
их няньки, их прачки, Семирамида,
говорящая только по-английски.

Миллиарды лиц на поверхности мира.
Лицо твоё, моё, чьё —
тебе никогда не узнать.
Возможно, Природе приходится идти на подлог;
чтобы успеть, чтобы справиться,
она начинает вылавливать то, что утоплено
в зеркале забвенья.





Замысел

Ко мне явился замысел —
стишка? стихотворенья?
Ну, ладно — говорю — останься, потолкуем.
Ты должен о себе побольше рассказать.
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
Вот — говорю — в чём дело. Интересно.
Меня давно эти дела волнуют.
Но чтоб стихи об этом? Нет, конечно.
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
Тебе лишь кажется так — отвечаю —
ты переоценил мои способности и силы.
Я даже и с чего начать, не знаю.
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
Ты ошибаешься — я говорю — труднее
писать короче, чем длинней. Не мучай
меня, не требуй, всё равно не будет толку.
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
Что ж, попытаюсь, раз ты так настойчив.
Предупреждаю — ничего не выйдет.
Всё разорву и выброшу в корзину.
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
Ты прав — я говорю — другие есть поэты.
Наверно, кто-нибудь напишет лучше.
Могу фамилии дать, адреса.
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
Естественно, я буду ревновать.
Мы даже слабые стихи ревнуем.
А эти, верно, будут... в этих будет...
В ответ он что-то шепчет мне на ухо.
В них будет всё, что ты здесь перечислил...
Но лучше сменим тему.
Выпьешь кофе?

В ответ он лишь вздохнул.

Стал испаряться.





Лешек Шаруга

ПОСЛЕ ДВОЕТОЧИЯ

Что после двоеточия — молчание? Белое пространство без единого записанного знака? Финал предыдущей книги Виславы Шимборской невозможно прочесть однозначно. Да что там — вообще невозможно прочесть. Невозможно, потому что, как мы помним из стихотворения «Утопия», всякий раз — даже покидая поэтическое пространство — мы оказываемся «в жизни непостижимой».

Мы знаем, хотя бы из Нобелевской лекции поэтессы, что она избегает определений поэзии. А если уж делает попытки такого рода, то с некоторым лукавством, как в начале последней вещи сборника, озаглавленной «Собственно, любое стихотворение»:

*Собственно, любое стихотворение
могло бы называться «Мгновение»:*

Этот текст кончается двоеточием. Но действительно ли кончается? А может быть, после двоеточия как раз и начинается «всё»: с чистого белого листа. В Книге Шимборской, как в каждой Книге, такой лист непременно должен появиться. Это знание «обо всем», конечно, вписано во всю поэзию Шимборской, где не случайно одно из «самых странных» — слово «Ничто», о котором читаем: «Произнося слово Ничто, / я создаю нечто, что не умещается ни в каком небытии». Так происходит и в случае, когда в конце стихотворения появляется двоеточие: раскрывается космос возможностей, одна из которых — молчание.

Сила этой поэзии — во всегдашней сосредоточенности на детали. Такая деталь — и двоеточие, и «точка копытца» из «Радости письма», где «Над белым листом готовятся к прыжку / буквы, которые могут лечь неудачно, / фразы, которые окружают, / от которых не будет спасенья». Каждый знак существует отдельно, однако каждый, как в этом стихотворении, становится звеном «цепочки знаков», связующей времена. Кто-нибудь еще напишет трактат о времени в этой лирике, о его поэтической философии. В «Греческой статуе» читаем: мраморные статуи «гибнут (...) бело / и не всегда до конца». Уцелевший торс всё еще приковывает внимание, «восхищает и длится —». Вновь деталь: стихотворение завершается тире, своего рода писательской (и музыкальной) паузой, за которой следует финал:

*Время здесь тоже заслужило похвальный отзыв,
ибо оно прекратило свою работу,
кое-что отложив на потом.*

Не прерывают работы Парки, особенно перерезающая нити жизни Атропос. Тем не менее поэтесса (лирическое я?) может прервать их труды, срочно завершив «Интервью с Атропос». Позволить себе так «пресечь разговор» с одной из дочерей Зевса и Фемиды — жест немалой отваги и отличная поэтическая шутка, такая же замечательная, как и концепция «Лабиринта». Лабиринт здесь — образ человеческой жизни, бегства от смерти: «Где-то здесь должен быть выход, / это более чем точно. / Но ты его не ищешь, это он тебя ищет / (...) а этот лабиринт / есть не что иное, как, / как твое, пока удастся, / твое, пока что твое, / бегство, бегство...». В стихотворении «Старый профессор» шутиливо приравнены друг к другу «маленький Гжесь из дома напротив и Марк Аврелий». Жизнь обоих имеет один и тот же вес на весах бытия.

В предыдущей книге юмор Шимборской — часто шутка со смертью (не над смертью). Это своеобразная и требующая углубленного анализа переоценка барочной традиции, о которой Ян Юзеф Липский в свое время писал, что это одна из главных точек отсчета современной лирики. Если учесть,



что некогда Милош назвал Шимборскую недостающим звеном нашей позитивистской поэзии — хотя не знаю, верно ли, при ее-то увлечении Паскалем? — барочные идеи кажутся удивительными, особенно в контексте последней книги поэтессы, названной «Завтра» (2009). Здесь — значит, где? По эту сторону существования, которая отличается от предполагаемого «там» и от того, что названо в финале заглавного стихотворения «нигде».

*Здесь, значит также — на Земле:
крутишься без билета на карусели планет,
вместе с ней, зайцем, в замети галактик,
сквозь времена, от которых так кружится голова,
что здесь на Земле и дрогнуть ничего не успеет.*

Однако эта жизнь на Земле, хоть и «достается довольно дешево», отягощена брэнностью, как в закрывающем сборник стихотворении «Метафизика»:

*Было, да прошло.
Было, значит, прошло.
Всегда в необратимой последовательности,
ибо таковы правила проигранной игры.*

Но брэнность — еще и вызов. Жизнь, единственная и неповторимая — а во всей поэзии Шимборской выражено именно такое убеждение, — это в то же время задача, с которой мы не можем справиться, поскольку не всегда хотим помнить, что «повторений не бывает», что мы участвуем в спектакле, который происходит без репетиций и дублей.

Шимборская рассказывает об этом необычным способом: использует в своих поэтических повествованиях устойчивые обороты разговорной речи и, помещая в метафизический контекст, наделяет их новыми, часто поразительными, значениями. Уже из приведенных выше фрагментов видно, как она освежает обороты типа «было, да прошло», «таковы правила игры», «ездить зайцем». Помещенные в лирическое пространство, они уже не употреблены механически, а становятся точными инструментами познания, раскрывают необыденность обыденной жизни. Именно эта необыденность схвачена в описании женщины, переливающей молоко из кувшина в миску. Как будто действие ничем не примечательное, не заслуживающее особого внимания. Но только до того мгновенья, пока мы не увидим ее на картине Вермеера в амстердамском Рийксмузеуме. Незначительный эпизод из жизни женщины картина преображает в момент вечности. И именно потому — читаем в финале стихотворения «Вермеер» —

*пока этот миг длится:
Мир не заслуживает
конца света.*

По ассоциации с этим стихотворением Шимборской и оставаясь в пределах его поэтики, можно сказать: пока длится это стихотворение — как и другие сочинения Шимборской, где из разговорной речи созданы побуждающие к раздумью композиции, преображающие обыденность в необыденность, — поэзия не заслуживает провозглашаемого время от времени «конца поэзии», а история — «конца истории».



Павел Герц

Перевод Марины Курганской

ДМИТРО МОЙСЮК

Из книги «Седан» (1948)

«Дмитро Мойсюк» — рассказ на лагерную тему из сборника «Седан», опубликованного в Варшаве в 1948 г. незадолго до ужесточения курса в сфере идеологии. Его автор Павел Герц (1918-2001) — поэт, эссеист и переводчик. В начале 1940 г. во Львове он был арестован НКВД и приговорен к восьми годам лагерей. Большую часть срока находился в Ивдельлаге. В Польшу вернулся в 1944 году.

В «Седане» писатель пытается обосновать свое принятие нового строя, не отказываясь, однако, от присущего ему скептицизма.

Пребывание в тюрьме и лагерях стало для Герца школой русского языка и литературы. Почти сразу после своего возвращения, в 1945 г., в еженедельнике «Жиче литератке» Герц опубликовал переводы двух стихотворений Осипа Мандельштама: «Природа — тот же Рим...» и «В Петрополе прозрачном мы умрем...». Это были первые переводы Мандельштама, опубликованные в Польше после войны (и единственные до начала 1970-х). Позднее Герц переводил Ахматову, Кузьмину, а также поэзию и прозу своего любимого писателя И.С.Тургенева.

П.М.

Марии и Казимежу Брандысам

Зимой 194... года звери и неодушевленные предметы были более благосклонны к эмигрантам, нежели люди. Легко было потерять последнее доверие к людям, и вовсе не потому, что это доверие было несовместимо с моими взглядами. Нет. Я был далек от мизантропии — далее, чем можно себе представить. Из Европы, в числе прочих вещей, я привез: плоские никелированные часы, когда-то купленные в Цюрихе, серебряную зажигалку Dunhill из Парижа и другие мелочи, непосредственно не влияющие на жизнь, но бесконечно ее облегчающие, — так вот: из Европы 1939 года я привез еще и дружеское расположение к людям. Потребность в этом расположении, его существо, унаследованное мною от вымирающего и обреченного мещанского сословия, я ощущал на митингах в толпе, заполняющей залы, в разговорах с извозчиками, в рабочих кварталах Парижа, в долгих спорах с испанскими эмигрантами на юге Франции — наконец, везде, куда бы я ни забирался, чтобы удовлетворить свою жажду жизненных впечатлений. Мой вид был обречен на уничтожение. Мещанство еще защищалось, ссылая под свои знамена самых невежественных союзников. В этой борьбе необходимо было занять какую-то позицию. Если мои инстинкты, навыки, привычки, семейные традиции склоняли меня выступить на стороне уходящего сословия, то мои представления о мире предлагали другое решение. Не теряя пресловутой мещанской почвы под ногами, сам я уже до половины высунулся из окна истории, глядя без гнева на идущих нам на смену. Любые попытки контакта с теми, кого в нашей среде именовали «простыми людьми» — очевидно, чтобы они не казались столь опасными, — заканчивались ничем. Это я был растроган, показывая рабочему репродукцию Гойи и растолковывая ему страшную суть войны. Я один чувствовал спазм в горле, наблюдая, как он робко, подобно ребенку, осваивающему азбуку, начинает познавать сложный, но всё же ему гораздо более близкий, чем мне, смысл истории. В результате этих бесед, в которые мы вкладывали столь неравные капиталы (я — растроганность старшего брата, он — спокойное удивление ребенка, повторяющего звуки), я сделал вывод, что личные контакты — не более чем наивная филантропия богатых светских дам, вышивающих слюнявчики для младенцев. Лишь тогда я почувствовал, что мещанское происхождение стало мне мешать. Но, связан-



ный тысячей тонких невидимых нитей со своей средой, я по-прежнему пытался установить контакты с новым, опасным миром путем поиска личных знакомств. Тогда я еще не понимал, что это, в сущности, не имеет ни малейшего значения. Так я и пребывал в подвешенном состоянии между двумя мирами, в предчувствии катастрофы, которая, я это хорошо знал, лишит меня равновесия и принудит принять решение. Не я один жил в ожидании катастрофы, вместе со мной ее ждали молодые люди, не заставшие войны 1914 года и полагавшие, что катастрофа сулит им многое. Станным образом о ней мечтали законченные пацифисты, молодые поэты-сюрреалисты, почитатели Куденхове-Калерги*, участники паневропейских съездов — все те, кто, прекрасно зная проблему изнутри, показывали ее непосвященным только в ловко задрапированной тоге. То, что пряталось под ее складками, уже давно перестало быть античной статуей, но так и не превратилось в живое тело, ибо быть им не могло. В те годы бесполое ангелы с лицами красивых мальчиков и с налетом брутальности на челе еще порхали по стихам живущих на ренту поэтов, которые возводили башни из ложек и блюдец, сидя днем в кафе «au Dôme»** или «Select». Госпожа де Бофор, у которой от рождения был небольшой горб, закутывалась в темно-красные шали, чтобы сделать его незаметным. В один и тот же вечер ее видели и на концерте в пользу немецких беженцев, и в мужском публичном доме на улице Лапп. Атташе посольства, когда-то выпустивший два томика прекрасных стихов, с тех пор не написал больше ни строчки, и теперь, опустошенный и уставший, снимал в рабочем квартале комнату в плохонькой гостинице, чтобы через дырку в зеркале наблюдать чужую любовь. Молодые художники ездили в Италию, желая в тосканских монастырях скуки ради приобщиться к наивной вере Паоло Учелло и рисовать картины в духе примитивизма. Если бы наша планета не была, вероятно, единственной, где существует род человеческий, то пришелец из других миров очень удивился бы, увидев, с одной стороны, картины Фернана Леже, а с другой — закрытые фабрики, полные современных, безжизненно стоящих машин. В порту Сантос топили кофе. Сжигали пшеницу. Когда кто-то смел заикнуться об абсурдности происходящего, ему отвечали со снисходительной усмешкой, что это возражения романтически настроенных радикалов. Вслед за бонзами социализма повторяли, что и при нашем строе, ликвидировав мелкие производства, можно без всякой революции прийти к социализму. Интеллектуалов пугали призраком сожженных библиотек и разбитого фарфора. Самые честные из мещан жили в ужасе от перспективы выбора между революцией и фашизмом. В эти дни я покидал Париж, где провел последние несколько месяцев в обществе выдающегося романиста Jouh.*** и молодого талантливого художника Stet.

В последний раз мы встретились за несколько дней до моего отъезда. Разговор как обычно состоял из обмена остротами. Мы старались очаровать друг друга, видимо, понимая, что никогда больше не увидимся. Уже тогда звери и неодушевленные предметы казались более благосклонными к эмигрантам, нежели люди. Нас с Jouh., и Jouh. со Stet. не объединяло ничего, кроме страха. Мы знали друг о друге всё и ощущали свое полное ничтожество. Видимо, география и стечение обстоятельств играют не последнюю роль в формировании характера человека. Если бы я остался на Западе, то, возможно, начал бы сотрудничать с фашистами, как Jouh., или совершил бы самоубийство, как Stet., в маленьком студенческом общежитии на ул. Принцесс, рядом с церковью св. Сулпиция.

Тогда, у стойки бара в «Select», мы, должно быть, всё это о себе уже знали. С Jouh. я познакомился в первые месяцы 1938 года. Понятия не имею, какого рода отношения связывали его со Stet., который тогда нас познакомил. Jouh. было около сорока; лысый и очень некрасивый, он производил впечатление робкого, плохо одетого провинциала: ходил в слишком широких штанах, слишком коротком пиджаке и ярких галстуках. Тогда, в 1938 году, я обращал внимание на эти детали, поскольку привык к узким брюкам, длинным узким однотонным пиджакам с одной шлицей — темно-зеленым, серым

* Граф Рихард Н. фон Куденхове-Калерги (1894-1972), австрийский политик, автор идеи паневропеизма. В 1923 г. выдвинул лозунг создания Соединенных Штатов Европы. — *Здесь и далее прим. пер.*

** Имеется в виду, очевидно, «Café du Dôme» — знаменитое парижское кафе на бульваре Монпарнас.

*** Имеется в виду Марсель Жуандо (1888-1979) — французский писатель, автор романов и многолетнего дневника.



или синим, — которые носили с белыми или кремовыми рубашками с причудливыми воротничками и фуляровыми галстуками. Это был совершенно другой стиль, и Jouh. — кажется, выходец из семьи разбогатевшего французского крестьянина — не мог иметь вкуса к старосветской элегантности. Другое дело Stet., сын англичанки и немецкого еврея, торговца живописью. О Stet. мы вообще знали очень мало. С момента моего приезда мы виделись почти каждый день в его мастерской, расположенной в мансарде гостиницы на улице Принцесс, или рядом — в ближайшем кафе на улице Канетт. Stet. часто заходил туда в компании уличных мальчишек и поил их дешевым вином или сидром. Он заявлял, что они его натурщики и что нас это, в конце концов, не касается. Stet. был в ссоре с отцом, не получал ренты и жил очень скромно; отчасти из-за безденежья, а отчасти из-за вывихнутого сознания, он жил в своей мансарде почти совсем без мебели. Железная кровать, стул, мольберты — и всё. На стенах — прилепленные как попало наброски Модильяни и рисунки Пикассо, засиженные мухами. Stet. спал до полудня, и разговаривать с ним в такое время было бесполезно: без аперитива он не мог прийти в себя, под глазами темные круги, руки дрожат. Jouh., вероятно, привлекала эта его далеко зашедшая неврастения, а может, и что-то еще. Женатый на греческой танцовщице, Jouh. неохотно бывал дома: болтали, что у них с женой часто случались скандалы. Видимо, Jouh. был слишком робок, чтобы реализовать свои скрытые желания так, как это делал Stet., вот почему Stet. легко, за несколько недель, завладел им полностью. Я не знаю, чем заканчивались их частые походы в подозрительные итальянские заведения около Лионского вокзала или в общественные бани «У королевы Португалии», пользовавшиеся двусмысленной славой. Книга Jouh. под названием «De l'abjection» («О низости»), которую я читал уже во время бомбардировок В., проливала некоторый свет на историю их дружбы. Чтение этой книги под грохот падающих бомб напоминало чтение строк Священного Писания об уничтожении Содома.

Небо Содома простиралось над нами долгие тысячелетия. Были ли в Содоме люди неправедные? Были. Всего-то около десятка, но устами истории они вопили о себе так громко, что казалось, будто их больше, чем есть на самом деле. Праведные работали на фабриках, пахали поля; их труд в соответствии со страшными правилами обмена, принятыми в Содоме, превращался в грех неправедных. Праведные объединялись в союзы, устраивали демонстрации, конная полиция неправедных разгоняла толпу. Некоторым из нас, опережавшим содомское время, уже ясно был виден его конец.

Сейчас, после упадка Содома, я хочу рассказать об одном из праведников, с которым мне довелось встретиться в то время, когда звери и неодушевленные предметы были более благосклонны к эмигрантам, чем люди.

С Мойсюком, украинским лесорубом, я познакомился несколько лет спустя, когда на меня обрушился небосвод содомский — на меня, который так долго сам его поддерживал. Тогда, в 194... году, образы Stet. и Jouh. стерлись из памяти. И я уже был не похож на себя прежнего. Руки окрепли, лицо огрубело от солнца и ветра; книг и картин я не видел два года. У меня не было ни малейшего желания возвращаться во времена Содома. Я валил деревья, обрубал острым топором ветви. Отдыхал у костра, разожженного, чтобы отпугивать мошку. Говорил на иностранном языке без труда — родной язык всплывал в памяти во время отдыха. Вместе с другими я громко кричал: «Полундра!» Неизвестно, откуда взялся этот возглас, из какого языка. Лесорубы пользовались им, когда подпиленное дерево падало на землю.

В тот день меня послали на другую вырубку за тридцать километров от прежнего места работы. Я шел по лесу, отрешенный от всего, кроме новых впечатлений: полярного сияния, белых ночей, малахитовых гор, которые были видны с нар, когда я засыпал после работы. Я забыл людей, с кем когда-то был знаком, — их лица, их голоса, их руки. Я забыл всё, что было в прошлом. Полное обрушение корней, полное отщепенство. С товарищами я, в общем, ладил, но держался на расстоянии. Они не знали обо мне ничего, а я знал о них многое. Я читал по их движениям, по их речи — во всяком случае, больше, чем они по моим. Я был иностранцем, эмигрантом. Мы, однако, вместе работали, вместе ели, спали бок о бок. Этого было достаточно, чтобы преодолеть возникшую вначале неприязнь. Они, безусловно, замечали, что физический труд мне непривычен. Тем не менее делали вид, что не догадываются об этом, уважали мое молчание и не спрашивали, кто я по профессии и откуда прибыл.



Они даже старались затушевать мою неумелость в работе. Вел себя, как хозяйка дома с неловким гостем, когда тот опрокинет рюмку вина на белую скатерть. Часто стремились незаметно помочь. Это выражалось в мелких, на первый взгляд, незначительных услугах. Например, наточат топор. Натянут пилу. Такие жесты я высоко ценил. Ни разу мне не дали понять, что я пользуюсь помощью. Я сожалел, что приходится расставаться с людьми, с которыми успел сжиться, и испытывал некоторое беспокойство, думая о том, будут ли мои новые товарищи на них похожи.

Только под вечер я добрался до небольшой поляны, на которой стояли бараки. Сквозь приоткрытую дверь пробивался свет керосиновой лампы. Я пошел прямо на знакомый запах лагерной жизни — пота, смешанного со смолой. Трехэтажные нары заполняли всё помещение. Свободным оставался лишь узкий проход между рядами. С верхних нар свисали ноги, босые и обутые. Курили махорку. Негромко рассказывали друг другу о каких-то важных вещах, сопровождая беседу характерными для простых людей жестами. Эти жесты одинаковы и у гамбургских докеров, и у тулонских моряков, и у барочников на Висле, промышляющих добычей и продажей речного песка. Я не раз их наблюдал. На каком бы языке ни шел разговор, они были совершенно одинаковы, если обсуждались одни и те же вопросы.

Те, кто сталкивался с лагерной действительностью, наверняка знают, что верхние нары ценятся больше, чем нижние. На верхних нарах менее зависишь от окружающих. Неудивительно, что мне хотелось найти именно их. Я шел по узкому проходу. Наконец остановился и полез вверх — на меня по-прежнему никто не обращал внимания. Одно место было занято, пустые доски рядом свидетельствовали о том, что здесь свободно. Я осторожно положил свой узелок в головах и сел, свесив вниз ноги. Разговоры внизу постепенно умолкали — очевидно, лампа догорала; сквозь приоткрытые двери был виден угасающий на несколько часов день, за которым не было ночи. Я, не торопясь, снял башмаки, осторожно поставил их к стенке и заслонил узелком. Снял куртку и брюки, которые постелил вместо простыни. Курткой я собирался накрыться. На следующий день я надеялся получить такое же, как на старом месте, одеяло и подушку, набитую соломой, — я заметил их здесь у соседа. Тот, видимо, спал, прикрыв лицо одеялом. Он лежал навзничь, и из-под одеяла видны были только его волосы цвета воронова крыла, разметавшиеся по грязной подушке, — черные и очень блестящие. Я закурил папиросу. Треск фосфора прервал полудрему моего соседа. Он зашевелился и поднялся. Сел, полуобнаженный, на нарах. Откинул волосы со лба и потянулся. На груди обозначились мускулы — выпуклые, как два щита, разделенных узкой дорожкой темных волос. Окончательно проснувшись, он повернул ко мне голову. «Ты из каких?» — он спросил по-украински, но говор был незнакомый, раньше я такого не слышал. Я уклончиво сослался на название лесопункта, откуда прибыл, избегая разговора о своей национальности. Делал это сознательно, не зная, какой он человек, и не желая пока вступать в разговоры, которые бы меня к чему-то обязывали. Мне хотелось, чтобы более близкое знакомство завязалось благодаря общей работе, со временем. Собеседник смотрел теперь не на меня, а на дым от папиросы. «Дай!» — сказал он кратко и повелительно, протянув руку. Я еще раз медленно затянулся и отдал ему свернутую из газеты самокрутку с махоркой. Он не поблагодарил. Курил жадно, наконец бросил окурочок. Снизу до меня долетело ругательство и шелест одеяла. Видимо, окурочек упал на нижние нары. Сосед улегся снова, теперь уже ко мне лицом. И не скрываясь, меня разглядывал — его явно забавляло мое смущение. Он молчал. Наконец и я, не желая первым начинать разговор, тоже лег. Было неудобно, куртка закрывала только грудь, ноги оставались голыми, а в бараке становилось холодно. Напрасно я пытался натянуть куртку на ноги, верхняя часть тела при этом мерзла. Сосед поднялся, передвинул сенник на середину наших сдвоенных нар, положил на него свою подушку и мой узелок, распахнул одеяло и сделал рукой пригласительный жест, указывая на свободную половину приготовленной таким образом постели. Я лег рядом с ним. Он старательно накрыл меня одеялом. Скоро сосед уже спал, мерно дыша во сне. Ритм его дыхания был равномерным и заволаживающим, я даже на мгновение задержал дыхание, чтобы лучше слышать эту успокаивающую музыку.

До того дня я не видел снов. Я проваливался в сон, как камень в стоячую воду. Дневные события отходили как круги по воде, и усталость погружала меня ниже тех отметок давления, где еще могут обитать сны. Эту ночь я провел беспокойно, как бы в полудреме.



Jouh. и Stet. раз за разом возвращались ко мне во множимых воображением образах, и лишь по путанице реальных элементов я догадывался, что это сон. Jouh. и Stet. преображались в лесорубов, работающих со мной на делянке. Этот лес рос на углу бульваров Монпарнас и Распай. Мы вместе выдавали хлеб в маленьком бистро, тут же за «Café du Dôme»: Jouh. был одет в теплые ватные штаны, а Stet. держал в руках палитру с красками. Все говорили по-русски, чему я удивился даже во сне. Наверно, этот странный фильм длился бы и дольше, если бы меня несколько раз не потрясли за плечо. Мой ночной знакомец, видимо, встал уже давно, потому что сейчас, полностью одетый, сидел по-турецки на нарах: перед ним стояли две оловянные кружки и лежал кусок хлеба, тщательно разделенный пополам. Я реагировал вяло, делая вид, что никак не проснусь, желая сначала к нему присмотреться. Трудно было понять, какого он роста; но когда он сидел вот так, пригнувшись, то казался высоким. В свете начинающегося утра глубокий черный цвет его волос еще больше бросался в глаза. У него было грубо вылепленное лицо, но прекрасная линия сросшихся бровей добавляла ему странного очарования. Мой товарищ походил на боксера, еще не покаленного в долгих и частых поединках. Лет ему было двадцать пять-двадцать шесть. Одет в аккуратно застегнутую зеленую рубашку с расстегнутым воротом, что при взгляде сбоку несколько смягчало очертания его мощного, слегка выступающего загривка. Брюки, столь узкие, что сквозь них ясно проступали колени, он носил заправленными в сапоги. Сейчас я смотрел на его руку, которую он убирал с моего плеча. Большая, широкая, мосластая. На наружной стороне кисти между большим и указательным пальцем я заметил голубую, несколько выцветшую татуировку: «Дмитро». Невозможно было дальше притворяться спящим, тем более что Дмитро, с присущей таким людям смекалкой, по дрожанию век догадался: я не сплю и наблюдаю за ним. Копируя его вчерашние движения, я не спеша поднялся, лениво потянулся, зевнул несколько раз, стараясь показать, что мне всё безразлично и я полностью поглощен процессом пробуждения ото сна. В прежней жизни, после проведенной вместе ночи, которая, подобно археологу, неверно реконструирующему античную группу, путала части тела, соединяла стройные ноги и раскрытые, как крылья, руки, — мы наутро обнаруживали, что лежим по отдельности, отвернувшись друг от друга и расплетя гордые узлы мускулов, покрытых смуглой кожей. Но это утро не было похоже на те парижские утра, когда я просыпался в маленькой гостинице на углу улицы Жермен Пилон, медленно открывал тяжелые портьеры и в свете едва забрезжившего дня разглядывал лицо спящей. Мне не дано было разгадать, куда ее ведет сон, по каким извилистым коридорам детских воспоминаний она блуждает, трогательно улыбаясь и не осознавая этого.

В то время я создал для себя целую мифологию сна. Я почти не отличал его от действительности, они были так взаимосвязаны, как жизнь и смерть, как человек и его тень, резко очерченная на тротуаре в лучах закатного солнца, как лицо и зеркало, которое его отражает. Граница между реальным и нереальным, между лицом и его отражением стиралась все больше. День был лишь предвкушением ночи. Я часами томился в ее ожидании, сидя в своей старомодной одежде в кафе на Сен-Жермене или за библиотечным столом. Иногда я шел в Лувр и там на картинах художников-примитивистов узнавал лица из своих снов. Это было тяжелое время. Я чувствовал, как постепенно погружаюсь в странное состояние между сном и реальностью. Одновременно стали проявляться очевидные признаки болезни: боязнь пространства, страх быть отравленным; скульптура, которая стояла у меня в комнате, по ночам сходила с пьедестала; я слышал голоса и видел давно забытые картины детства. В конце концов я избавился от этого наваждения буквально за несколько недель до начала войны.

Дмитро подал мне оловянную кружку и кусок хлеба. Добродушно улыбнулся.

— Ешь, уже поздно. Сейчас пойдем на работу. Я поговорил с бригадиром, ты будешь со мной в паре.

Это поспешное решение, к тому же одностороннее, несколько меня удивило. Мысль о работе с Дмитро обескураживала, потому что силы были очевидно неравны. До этого я трудился один, ни от кого не завися; сколько и в каком темпе — решал сам. Работа с напарником накладывала обязательства, связывала, и я счел нужным предупредить Дмитро о том, что он не найдет в моем лице равного партнера.

— Ведь ты еще не знаешь, как я работаю. Будет лучше, если мы пока поработаем отдельно. До полудня я спилю не больше трех сосен. Конечно, вместе с обрубкой веток и ошкуриванием, — поспешно добавил я, заметив в его глазах тень разочарования.



Ему было досадно, что я оценил свои силы ниже, чем он, но я сказал правду, он это понимал. Дмитро почувствовал неловкость за свое поспешное предложение и не знал, как из него выпутаться, не уронив себя (тем более что я сам показал ему путь к отступлению). Он, не отрываясь, пил кофе мелкими глотками. Наконец поставил кружку и отер рот тыльной стороной ладони — жест, который я столько раз наблюдал у простых людей, тот самый жест, который уже много месяцев заменял мне белую тонкую салфетку, заткнутую за вырез жилетки. Внимательно наблюдая за собой в процессе перехода из одной сферы жизни в другую в связи с изменением моего положения и характера труда, я пришел к убеждению, что почти всё в нас зависит от места в системе производства.

Я постепенно терял свои хватки рантье, шаг за шагом осваивая движения человека труда, которые, правда, пока еще не соответствовали моему внутреннему миру — он по-прежнему был наполнен воспоминаниями и картинами прошлого и пока оставался неизменным, во всяком случае не соответствовал темпам изменений внешних. Мне было совершенно ясно: пока я не приду к твердому убеждению, что прошлое и вся моя старая жизнь сгинули, исчезли безвозвратно, — до тех пор я не смогу переродиться. Даже руины минувшего притягивали к себе, звали искать следы того, что было прежде. Уже тогда я понимал ужасную пустоту своей прежней жизни. Отношения с простыми людьми, формировавшиеся на основе совместного труда и близкого материального положения, не имели ничего общего с интеллигентской благотворительностью, к которой по сути и сводились мои попытки преодолеть свою социальную ограниченность. Конечно, я был и оставался городским интеллигентом, с этим ничего нельзя было поделать, но это перестало меня угнетать с тех пор, как я утратил материальную зависимость от почвы, на которой возрос и которая меня питала. Главное, что миф о простом человеке сделался реальностью. С той минуты, когда Антей коснулся земли, мифу пришел конец; Антей подчиняется всем законам экономики и социологии, меняющимся в зависимости от соотношения сил.

Мои размышления прервал Дмитро:

— Пора, бери инструменты. Пилу нужно будет натянуть, она вчера ослабла, — он говорил таким тоном, как будто мы давно работали вместе.

Я не стал возражать. Мы вышли из барака на небольшую поляну. Лес стоял полукругом, словно амфитеатр, а поляна была ареной; в прогалинах над обрывом голубело небо, и виднелся горный массив малахитового цвета, терявшийся вдаль.

— Урал! — Дмитро по-хозяйски огляделся. Теперь мне был виден его профиль на фоне далекого ландшафта. Почти геометрический, будто сошедший с современного плаката. Странное сочетание четкого рисунка его профиля с огромным, несколько размытым ландшафтом тоже напоминало полотна итальянских примитивистов с их излюбленным приемом контраста двух планов. Дмитро повернул, и теперь мы шли по узкой тропинке, которую он, видимо, хорошо знал. Наше общение, собственно говоря, сводилось к его монологу. Мой напарник отдавал приказания, а я, коротко ответив, механически их исполнял. То, о чем я думал, невозможно было передать. Я просто не сумел бы найти формы для выражения своих мыслей — прежде всего меня смущало, что я думаю о вещах второго порядка, относящихся к действительности, как ветки к стволу дерева.

Я натягивал пилу так неумело, что Дмитро потерял терпение. Он вырвал ее у меня из рук и, ни слова не говоря, сам натянул. Я неловко и неуверенно оправдывался. Работали мы до полудня с небольшими перекурами. Почти не разговаривали — я рассчитывал на долгий разговор вечером. Но в конце мы настолько устали, что, вернувшись, сразу заснули, не обменявшись и парой слов.

Теперь дни тянулись однообразно. Мы говорили о работе, о заработках, о конце войны и о возвращении домой. Дмитро о себе говорил мало, обо мне не спрашивал, словно его это вовсе не интересовало; я предпочитал уклоняться от личных разговоров, не желая лишний раз подтверждать догадки, что у нас мало общего. Я полагал, что он догадывался об этом по тому, как я работаю, по моему поведению, речи, по тысяче мелких, но существенных деталей, выдающих происхождение человека. Вскоре, однако, выяснилось, как сильно я ошибался. За долгих двадцать лет я привык оценивать людей так же, как окружающие, которые судили обо всех по внешним признакам — тем, которые проявляются в общении с людьми своего круга. Требовалось соблюдать принятые правила



вежливости: в среде мелких мещан, например, грубость в отношении прислуги допускалась, зато нельзя было нарушать патриархальный обычай и садиться за стол, пока не сядет отец. На самом вер-ху иерархии неправедных находились люди, которые пренебрежительно обращались со всеми, кто хоть на полступеньки стоял ниже их по социальной лестнице, зато были безукоризненно вежливы с прислужгой. Думаю, эти, самые неправедные обитатели Содома лучше других осознавали, что обре-чены на уничтожение, и старались заранее заручиться милостью праведных.

Дмитро относился к людям иначе. Я сильно ошибался, полагая, что когда-нибудь сумею открыть ему свою особость. Об этом не могло быть и речи, потому что мой товарищ ее заметил и по-своему уважал. У него на это имелись свои причины. Его уважение, однако, не было вызвано страхом или чувством собственной неполноценности. Где-где, но в глубине Урала, в своей лесной стихии, Дмитро чувствовал себя намного увереннее, чем я.

Уважение, которое он питал ко мне, основывалось на понимании, что люди делятся на тех, кто не умеет валить сосны и точить пилы, и тех, кто не умеет читать и знает о мире лишь то, что видит вокруг себя. А Дмитро как раз хотел знать о мире как можно больше.

Вот почему наши монотонные дни стали заполняться разговорами. Сначала это были диало-ги: Дмитро задавал короткий вопрос, в котором неумело пытался выразить свое любопытство, а я играл роль многоголосого хора, исполнявшего кантату в ответ на отдельные орган-ные аккорды. Прежние разговоры, которые велись в Содоме, были совершенно бессмысленны. Они напоминали диалоги из какой-то, не помню точно, пьесы Уайльда, где светские люди беседуют о погоде. В тех давних разговорах собеседники были лишь списками с каких-то образцов: Люсьена де Рюампре, Дориана Грея, Барнабуса*, классической *incomprise*** или, в крайнем случае, встреченной на буль-варе дамы с камелиями; заранее было известно, кто что скажет и кто что на это может ответить. Помню разговоры и в римском Колизее, и перед картинами в Лувре, и в «Ритце», и после вечера поэтов-сюрреалистов, — о католицизме и пятилетке, о новых фасонах от Worth и теории относи-тельности. Они были заготовлены заранее, как наша одежда, как выражение, которое мы придавали лицу перед входом в салон, как всё наше катящееся к финалу затхлое содомское существование, могущее иметь лишь два финала: измениться или сгинуть. Осознание этой страшной правды, коль скоро оно у нас было, заставляло нас молчать о самом важном. Мы молчали до тех пор, пока не заговорили пушки.

Если когда-то я уделял столько внимания снам и их значению, если описывал, как мы засыпали и просыпались вдвоем, то только потому, что в те годы правда, тщательно скрываемая днем, прихо-дила лишь во сне, и два немых человеческих тела, лежащих рядом на холодной простыне, как на мраморной крышке античного саркофага, не могли лгать. Кроме сна были и другие способы ухода ото лжи, — в те годы начался поистине массовый исход. Куда только не вели пути бегства: в колони-альные страны, в ризницу Сен-Жермен-де-Пре, в ряды фашистов, на выступления в Гайд-парк, на ярмарки и в отделанные деревом залы, которых было полно в Содоме — от улицы Лапп до вонючих кабаков в Праге***.

Это были первые мои попытки найти настоящих людей, которые, однако, кончились ничем, иначе и быть не могло, поскольку в их основе лежало нежелание менять что-либо в себе.

И лишь время, то самое, которое выбелило раскрашенные греческие скульптуры и рассыпало в прах высокие арки римских акведуков, сбросило нас с возвышающейся над Содомом пирамиды, оно изменило наш голос, покрыло руки грязью, а лицо загаром — и так, меняя нас шаг за шагом и разрушая нашу мертвую оболочку, поставило нас лицом к лицу с настоящей жизнью и заставило взглянуть на нее внимательнее, чем раньше.

Иллюзия, будто Дмитро не знает о моей особости, возникла, конечно, из-за непонимания — ока-залось, что я его просто недооценивал.

* Арчибалд О. Барнабус — персонаж, придуманный французским писателем Валери Ларбо (1881-1957). От его имени Ларбо написал стихи и прозаический «Дневник А.О.Барнабуса».

**Непонятая, недооцененная героиня (франц.).

*** Прага — здесь: восточная часть Варшавы на правом берегу Вислы.



Как-то вечером пришла ежемесячная почта. Писем я не получал никогда, но обычно писал их для других. Несколько коротких общих фраз — при всем желании я ни разу не смог выдавить из себя каких-то подробностей. Оказалось — еще одно открытие, которое мне суждено было сделать в те годы, — что я умею хорошо пересказывать книжки, но не в состоянии ничего сказать об окружающем меня мире.

Однако трудное искусство письма, которым я владел в отличие от большинства моих товарищей, очень мне пригодилось. Особенно на новом месте. В этом бараке жили главным образом украинцы из Закарпатья; демократическая Чехословацкая республика, гражданами которой они были в течение двадцати лет, не позаботилась о том, чтобы они освоили грамоту. Что делать с полученным письмом? Его надо прочитать, а потом на него ответить. Об этом знает каждый: и лесоруб из Закарпатья, и банкир из Содомы. И Дмитро это знал — вот и пришел ко мне с письмом, на которое нужно было ответить. Я спросил его, откуда он взял, что я умею писать. Он только усмехнулся, как тогда, когда я не мог справиться с пилой или когда мы несли тяжеленное бревно на крутой берег реки, по которой сплавляли лес, и я то и дело останавливался, чтобы перевести дух. Дмитро усмехался еле заметно, наверное, думая, что я этого не замечаю. В его усмешке читалось и сочувствие, и самоуважение, и осознание того, что всё же есть разница между ним, Дмитро, с детства трудившимся в лесу, и теми, кто, как я, никогда не работал (пусть теперь я и приспособился полностью к новым условиям и людям). Но это не значит, что Дмитро считал меня ниже себя. Его улыбка просто констатировала существующее положение вещей. А может, он был доволен, что я все-таки выказал себя настоящего. Дмитро подал мне письмо так, как подавал инструменты. Спокойно, без раздражения, — ведь он не сомневался, что с этим заданием я справлюсь лучше, чем с той работой, которую мы выполняли вместе. Наверняка и мои жесты свидетельствовали о большей уверенности в себе по сравнению с тем, как я брал из его рук пилу или топор, потому что Дмитро снова улыбнулся — на этот раз шире и с явным удовлетворением. Так мы иногда улыбаемся сами себе на концерте, когда пианист, неудачно сыграв первую вещь, прекрасно справляется со следующей. Тогда мы вспоминаем, что этот музыкант плохо исполняет Дебюсси, зато верно передает Баха.

В тот вечер я написал более десятка писем. Сначала собирался каждое сочинять отдельно — тщеславие владеющего пером человека, — но мои клиенты воспротивились этому. По их мнению, нельзя в каждом письме писать другое, если и жизнь, и работа у них одинаковые.

Доказав свое владение искусством чтения и письма, я попал на высшую ступеньку барачной иерархии. Тут я почувствовал, какую власть имеет шаман над племенем или священник над приходом. Я понимал, однако, что не имею права обмануть их доверие, и не пользовался своими потенциальными привилегиями. Раньше лесорубы, не раз наблюдавшие наш с Дмитро неравный вклад в общее дело и то, с какой щепетильностью он делит выдаваемую нам еду — эквивалент труда, — давали Дмитро понять, сколь неразумно он поступает, работая со мной в паре, теперь же они сочли, что все в порядке. Прошло несколько дней. Умение читать и писать отступило на задний план по сравнению с новой проблемой. Вырубка леса велась теперь довольно далеко от берега реки, где складировались приготовленные для сплава бревна. Мы работали на небольшом холме. Транспортировать вручную бревна к реке стало тяжело. Для меня почти невозможно. Дмитро казался вполне довольным судьбой, расстояние его не смущало, и, нося со мной бревна, он охотно соглашался на частые остановки, хотя это отнимало все больше времени.

Ночью у меня в памяти всплыла ода Державина про истукана, скатившегося со ступеней*. Эти строки — один из самых первых примеров звукописи в поэзии. Рядом глубоко и ровно дышал Дмитро. Его вдохи и выдохи вплетались в ритм классического стихотворения, служа в нем цезурами. Я постепенно засыпал, и мысли мои принимали иное направление. О бесполезности знания поэзии на склонах Урала, на краю тайги. И тогда вдруг вместо скатывающегося по ступенькам истукана я увидел мерно катящиеся сосновые бревна.

* В стихотворении «Мой истукан» Г. Державин описывает, как его мраморный бюст будет сброшен потомками и скатится по длинной лестнице: «Стуча с крыльца ступень с ступени».



На следующий день мы с Дмитро, который сразу понял мой план, уложили в лесу слегу из прямых и тонких стволов, предварительно тщательно очищенных от сучков. Слегы вели от вырубке прямо к реке. По ним, словно по деревянным рельсам, без труда можно было скатить любое самое тяжелое бревно, действуя жердью как рычагом.

Это была вторая победа, поднявшая мой авторитет среди закарпатских лесорубов. Тогда я в первый раз почувствовал ценность прикладных наук. До сих пор все удобства, с которыми я встречался в Содоме, начиная от многоцилиндровых лимузинов и кончая плоскими швейцарскими часами, служили нашему свободному времени, отдыху, обеспеченному добросовестным трудом наших предков и рентой, которую их труд через много лет приносил расточительным потомкам.

С этого дня, хотя я не стал работать лучше и по-прежнему неловко управлялся с пилой и топором, ко мне относились как к равноправному члену коллектива. Это было молчаливое торжество Дмитро над товарищами, потому что он с самого начала, как позже признался мне в доверительном разговоре, рассчитывал на способности, которыми, по его мнению, должен обладать человек, освоивший трудное искусство чтения и письма. Дмитро никогда бы не понял того, что считалось в Содоме идеалом в течение многих лет, — знания ради знания. Он верил: они должны служить людям, — не может быть, чтобы чьи-либо знания не приносили остальным никакой пользы.

Медленно наступала осень. Малахитовые горы окрашивались в цвет более близкий к обычной зелени. Жухла трава. Мне было трудно судить, улетели ли уже птицы, потому что я редко видел их в небе, которое почти никогда не менялось. Дни, еще недавно очень светлые, становились короче, а ночи темнее. Когда я ночью выходил из барака, то больше не мог различить растущего в отдалении дерева, которое еще неделю назад было ясно видно до каждой веточки, как переплетение кружев, если рассматривать их на свет.

Характер разговоров с Дмитро изменился. Раньше он о себе не распространялся, а теперь начал рассказывать о родной деревне, о лесе, о родителях, о привычках лесорубов, об инструментах, как ими пользуются, о том, что делают и как живут люди в его краю. Его рассказы были сухими, сжатыми, он говорил только по существу, без украшательств, именно то, что хотел сказать. От монотонного течения его эпического повествования я получал большое удовольствие.

Я невольно сравнивал его рассказ с интеллектуально-барочным стилем разговоров в Содоме, после которых оставалось впечатление, что ничего не было сказано и ни одна вещь и ни одна тема не была представлена такой, какой была на самом деле. Словно складывали мозаику из осколков разбитой вазы, на которой была изображена история всех культур: фрагменты не стыкуются друг с другом, никто не умеет склеить вазу, но участники счастливы — ведь из-под их рук выходит нечто вычурное и совершенно бесполезное.

Я понимал, что Дмитро не просто хотел сообщить сведения о своей жизни. Говоря о себе, мой напарник надеялся, что я отвечу ему тем же и он узнает обо мне больше, чем сам уже смог догадаться.

В тот вечер Дмитро закончил свой монолог лукавой фразой: «Я уже всё рассказал». Повернулся на бок и сразу заснул, оставив меня с неоплаченным счетом откровенности.

«Я уже всё рассказал» означало «теперь твоя очередь». Раньше Дмитро ни разу не давал мне понять, что если я знаю больше и больше видел, то должен обо всем ему рассказать. Мой мир возбуждал у него любопытство, тем не менее он мне этого не показывал. Может, уважал мою сдержанность, может, понимал, что я обитал в каком-то замкнутом, узком мирке, куда ему нет доступа, и не хотел ставить меня в неприятное положение, заставляя толковать о вещах, ему непонятных.

Конечно, я не мог поведать ему ни о беседах со Stet. и Jouh., ни о чем я думал, скитаясь между Монпарнасом и Монмартром, ни о картинах, которые видел, ни о книгах, которые читал, ни о музыке. Не мог, потому что во всем этом не было иного содержания, нежели я сам. И даже не я сам, а некий типаж — житель Содома образца 1939 года. Этот типаж имел десятки тысяч копий, растиражированных повсеместно, от Сены до Вислы.

Вокруг нас в каждом городе что-то происходило. Но что? В моей памяти сохранились лишь обрывки, и то только потому, что цветом они напоминали любимые картины, содержанием — любимые книги, а звуками — любимую музыку. Если я тосковал по Содому, то не по реальным людям и не по



реальным городам из кирпича и металла, а по модели человека и модели города. Я неизменно думал о них как о мертвой театральной декорации, но ведь что-то в этих городах совершалось, были там живые люди, праведники, их работа, их развлечения, их жизнь, которой я совсем не знал, хотя имел о ней какие-то смутные догадки. Именно об этом я решил рассказать Дмитро.

Как-то вечером я начал говорить, и рассказ мой был долгим. Дмитро слушал доброжелательно, но я, видимо, стал путаться, взамен живых явлений подставлять декорации, и в результате вместо обещанного рассказа о большом городе получился рассказ о самом себе с исповедальными и покаянными акцентами. Дмитро не был к этому готов. Ему и в голову не приходило, что у меня могут быть в жизни какие-то трудности и осложнения, впрочем, его это не очень интересовало — точное описание он предпочитал запутанной психологии, на которую я как раз и налегал по привычке, свойственной обитателям Содома, где каждый считает себя пупом земли.

Вежливость, с которой Дмитро два последних вечера слушал новую исповедь сына века, сменилась любопытством. Дмитро хотел знать, как выглядит большой город, который он никогда не видел. С самого начала предполагалось, что об этом я и должен был говорить. По ходу дела я совершил ошибку, свойственную, впрочем, всем писателям из Содома: вместо того чтобы описать город, я говорил о себе в этом городе.

Под конец Дмитро решительно потребовал: «Расскажи мне о большом городе». Я смутился и торжественно пообещал сделать это завтра вечером, и заснул с мыслью, что ничего не смогу рассказать ему ни о великом Париже, ни о печальном Риме, ни о своем родном городе. Ничего кроме того, что везде я читал те же самые книги, смотрел те же картины, разговаривал с теми же людьми, вставал поздно, ложился на рассвете, всё больше узнавая о себе и всё меньше об огромном мире, населенном праведниками.

В тот день мы спилили последнее дерево на холме. Вокруг нас образовалась обширная вырубка. Окрестности были видны отсюда как на ладони. Тусклое небо — небо поздней уральской осени. Подпиленное дерево скрипело, как несмазанная дверь. Дмитро распрямился, потер руки, потом их раскинул. На фоне огромного неба и далекого пейзажа он казался большой птицей, готовой взлететь. То ли порыв ветра налетел, то ли запил оказался слишком глубоким и нельзя было мешкать, стоя там, куда упадет дерево, — не знаю, но оно рухнуло, как подкошенное. Я не успел даже крикнуть таинственного слова «полундра», которое на языке местных лесорубов означало предупреждение об опасности.

Вид моего товарища с раскинутыми руками и короткий шум падающего дерева слились в единое целое. В первую секунду я подумал, что Дмитро Мойсюк и вправду взлетел, как большая птица, а он тем временем лежал среди зеленой хвои очень бледный, с закрытыми глазами, с приоткрытым ртом, как накануне, когда сказал перед сном: «Расскажи мне о большом городе».

Думаю, я не сумел бы ему об этом рассказать.





Павел Герц

Перевод Андрея Базилевского

СТИХОТВОРЕНИЕ

Из цикла «Осенние и зимние песни»

V

Перед глазами зимой декабристы.
Траугутт. В январе – восстание.
Люди все, как белый снег, чистые.
Свои. Чужие. Поляки и россияне.

Те, кто в сибирских снегах замерзал,
чьи кости белее снега – сквозь годы.
Кто бесконечным этапом шагал
к далёкой земле свободы.

Здравствуй, зима. Я у печки сижу.
Кровь в снегу запеклась. Вот лихо...
С утра себе места не нахожу,
оттого что я здесь, где тепло и тихо.

(1956)



Марек Новаковский

Перевод Сергея Политыко

СИОНИСТЫ — В СИАМ

Записки 1967-1968 годов

В варшавском издательстве «Свят ксёнки» («Мир книги») только что вышла книга замечательного прозаика Марека Новаковского — его записки 1967-1968 гг. Книга, отрывки из которой мы публикуем, открывается коротким предисловием автора:

Я ничего не менял. Как было тогда записано, так и осталось. Точная картинка увиденных «снизу» событий, которые начались с израильско-арабской шестидневной войны и лавиной прокатились по Польше, найдя свое выражение в антисемитской кампании, развязанной ПОРП, эффектно усиленной шумихой вокруг «Дзядов», студенческими сходками и забастовками во всех университетах. Это было время, когда в обществе бурлили страсти. Творилось и позорное, и благородное. Малое и большое сталкивались постоянно. Для многих поляков это был экзамен на человечность.

Марек Новаковский

*

Встречаются два партийных секретаря. По-дружески, с женами. Жены возле шифоньера, одна другой показывает платья и блузки, примеряют, крутятся перед зеркалом.

Секретари смотрят телевизор. Программа неинтересная, так что болтают о том о сем.

— Ну, я уже этого еврея вычистил, — говорит один. — Неисполнение служебных обязанностей, выговор...

— Неисполнение, — смеется второй. — Это всегда можно прилепить... Самое лучшее.

— И правильно, — оживился первый. — Хватит уж их власти... И наверху их всё меньше. Чистят...

— От них не избавишься, — сказал второй. — Сильное племя.

— А у тебя с ними как? — спросил первый.

— У меня? — Второй задумался. — Ну, еще порядочно сидит в руководстве. В техотделе, неплохие специалисты... И в административном, когда стали разбираться... Но пока не подкопаешься. Резолюцию против агрессоров подписали, даже не поморщились — сам в лица смотрел. Но как только чего, я уж им выдам по полной...

— А я на место этого своего, — продолжил первый, — взял Блашинского. Приличный мужик, старый активист, еще с района. И жена у него очень ничего. Мы вместе в бридж играем. Она хорошо играет.

— Блашинский... — задумался второй. — Это... Ну да. Я их знаю. Жена такая, — говорит потише, — такая маленькая, аккуратная...

Первый кивает и улыбается многозначительно, по-мужски.

— Она еврейка, — уверенно заявляет второй.

— Да ты что! — возмущается первый. — Откуда!? И не похожа совсем!

— Точно... Спроси у Кароляка. Он их знает, они из одних мест. Откуда-то из-под Варшавы. Города такой... Как его? Сейчас... Гарволин вроде...

Первый в замешательстве, тупо уставился в телевизор.

— Никогда б не подумал, — выдавил наконец.

— А чего тут такого? — успокаивает второй и улыбается. — Жидов повыгоняем, с жидовками гуляем. Слышал поговорку?



Собрание на предприятии. Вручают премии передовикам и общественникам. Из инструментального дали Бачинскому. А Зильберману не дали. Зильберман разозлился, потому что очень рассчитывал на премию.

— Одним подхалимам и ловкачам дают, — говорит довольно громко. — Какой он там передовик... Вот вам и честность, пожалуйста... Вот он и с конвертом.

Бачинский услышал. Хочет как-то отбиться от обвинений. В шутку вроде говорит:

— Смотрите-ка — старому пьянице на водку не хватает.

Тут Зильберман всерьез разозлился, кричит:

— Ах ты, морда жидовская!

Скандал, словом. Оба партийные, разбирают на партбюро. Зильберман объясняет:

— Да, товарищи, признаю, что сказал. Но не в смысле оскорбить. Просто товарищ Бачинский — настоящий сионист, во время израильской агрессии высказывался очень едко и с удовлетворением о побежденных арабах, а я целиком и полностью в этом вопросе поддерживаю линию партии и горячо, безоговорочно осуждаю агрессоров.

До вечера эту историю обсуждали. Люди потихоньку посмеивались. Только посмотрите на Зильбермана: нос крючком, волосы черные, кудрявые, а чем больше нервничает, тем сильнее еврейский акцент. А вот Бачинский: светло-русый, глаза синие, нос картошкой — чистый славянин. А сконфужен сильно этим всем, ведь живут с Зильберманом в одном доме.

Получил Зильберман выговор с занесением. Пошел потом выпить с друзьями. Когда уже прилично принял, признаётся:

— Да, я наполовину еврей, по отцу, значит. Но я на самом деле осуждаю...

Друзья так со смеху и покатались.

— Слушай, Зигмунт, до половины уже дошел... Давай дальше... А как с матушкой?

Но Зильберман стоит на своем.

— Ну, а все-таки? — настаивают друзья.

А он ни в какую.

— Да чего ты, в самом деле? Давай уж полностью... Дай ты себе сто процентов.

Он чуть не в драку. Наполовину — и точка.

Смеху ради на фабрике Бачинского стали звать Жиденком. Бачинский, когда видит Зильбермана, краснеет и плюется.

— Сволочь! — только и говорит.

У нас с этими мартовскими делами инженер Бартек хотел карьеру сделать. Он вообще такой верткий, скользкий. Уже сорок, а выглядит молодо, худенький, как мальчик, стрижка короткая. Он у нас на фабрике сразу после института. С людьми умеет ладить, где кому-то что-то приятное скажет, где анекдот ввернет, перед работягами не зазнаётся. Но амбиции страшные. Лишь бы наверх пролезть. Хоть по трупам. Я его сразу раскусил, у меня на таких нюх. Так вот, очень ему хотелось стать директором. Уже несколько лет. И в самом деле, на фабрике уже всего добился, только это ему оставалось... И когда начались эти мартовские события, инженер Бартек сразу стал действовать. Нацелился на директорское кресло. Где-то узнал, что в прошлом году директор часть прибыли, которую должны были распределить среди работников (у нас самоуправление), направил в фонд развития. Я тоже это знал, но директор правильно сделал. Надо было затыкать дыры, вкладывать в производство. Ну, инженер Бартек с этой прибылью и начал... А сами знаете, как тогда было после студенческих волнений. Всякие собрания, митинги, все гудит как улей.

И на заседании нашего рабочего самоуправления инженер Бартек этот вопрос поставил.

Такие дела, когда денег касается, конечно, на работников действуют. Подняли крик. Главбух поблуднела как полотно. Все шишки на нее. Смотрю — Бартек улыбается, руки потирает. Попал в яблочко. Сейчас и до директора доберутся. Директор страшно нервничает... Но представьте себе, как оно неожиданно получилось. Главбух всё взяла на себя, директора ни одним словом не подставила. Заявила, что, мол, на основе баланса сама решила часть прибыли направить на инвестиции,



поскольку возникла неотложная необходимость. Директор вышел сухим из воды, главбух вылетела с грохотом. Да она-то профессионал, ее все знают, работу себе сразу найдет. А Бартек — ну и дрянь — словно ни при чем.

А потом еще директору с улыбочкой:

— Вы, товарищ директор, наверное, довольны. Я ведь знаю, какие у вас с бухгалтерией были противоречия.

Вот дерьмо! Прекрасно ведь понимает, что она директора прикрыла. А сам спокойный такой — лицо не дрогнет, ему бы в покер играть. Директор ничего не ответил, только вспотел. Он всегда в таких голевых ситуациях потеет, особенно на лбу и на носу. Ну и что, думаете, Бартек успокоился? Ага! Совсем наоборот. Пошел ва-банк. Поползли вскорости по фабрике сплетни. И все к тому, что директор наш — еврей. Я об этом никогда даже и не думал. Не знаю... Может, и похож, мне-то что... А тогда как раз эти дела с сионизмом вовсю начались... Агенты сионизма повсюду, то, сё, газеты, радио, телевизор... И на фабрике по углам всё шу-шу да шу-шу. Я сам в туалете видел рисунок — типа карикатуры на директора и надпись «Сионисты — вон!» Ну, и о неразделенной доле прибыли не забыли. И кто-то рабочих накручивает, что, мол, это специально их хотели по карману ударить. Стали всякие старые грехи искать. Вспомнили, что кого-то там несправедливо уволили. Кому-то премию урезали, а кого-то обошли с повышением. Кто виноват? Уже и эти из ОТК, и чертежники из техотдела — все в один голос: ясно кто! Даже эта дура Анка из моего отдела прямо спрашивает: «Пан инженер, а правда, что наш директор — еврей, да?» И смеется, корова. Чему радуется?

Я думаю, что до директора все эти сплетни доходили. Он тогда стал даже на себя не похож: худой как щепка, весь на нервах, дерганный, курит одну за другой... Мне его жаль было. Но, надо сказать, держался молодцом. Об этом никогда ни слова, ни намек даже. Представьте, сколько же ему это нервов стоило... Все эти взгляды — и в техотделе, и в конструкторском бюро, и в цехах — всюду, куда зайдет, поглядывают: ехидно так, двусмысленно...

Бартеку, точно говорю, только в покер играть. Во всем этом свинстве он как в родной стихии: улыбочивый, милый такой, с директором предупредительно вежлив, готов любое распоряжение начальства тут же выполнить. Но я вижу: очень часто среди рабочих крутится, в перерыв подойдет, сигареткой угостит, такой душа-человек, крутится тут и там. Один раз, вижу, с этими молодыми из комитета Союза социалистической молодежи в кафе выпивает, чего-то им внушает, это он умеет — ого! Еще как-то двух фрезеровщиков на своей машине до дома подвез.

— Это пустяк, товарищи, мне не трудно, да и почти что по пути...

С чего бы таким демократом заделался? Ну, я-то его достаточно знаю. Понимаю, что за этим кроется... Потом на фабрике начали собирать подписи — сначала вроде как насчет оздоровления атмосферы, общие слова, ничего конкретного. А потом уже в открытую, из главного калибра: требуем убрать директора. Разумеется, все прежние грехи с планом, производством, зарплатой — всё стали на него вешать. А он-то, по правде сказать, неплохой организатор и специалист. На прежнем месте, откуда к нам пришел, много хорошего сделал, наладил производство, на экспорт продукцию начали поставлять. Понятно, что не без ошибок, да кто их не делает...

И вот ко мне тоже стали депутации приходить, на самолюбию играть:

— Пан инженер, мы вас знаем как очень порядочного человека, ценим ваш профессионализм, вашу честность, вы пользуетесь таким авторитетом в коллективе, — без мыла в зад лезут. — Почему бы вам к нам не присоединиться? Ведь мы хотим навести порядок на нашем предприятии...

Ну, я тут развел руками — и под дурачка:

— И как же вы, уважаемые коллеги, собираетесь наводить порядок?

А они уже конкретно:

— Пан инженер, вам, наверное, тоже не нравится, как директор руководит. Ни в чем не разбирается, ничего ему нельзя доказать.

Я им тоже конкретно:

— Дорогие мои, как это не разбирается? Столько лет работали, не жаловались — и вдруг?..

А они последний аргумент:



— Пан инженер, ведь он еврей, вернулся с русскими войсками. Как такой может быть руководителем? Я этих реформаторов быстро окоротил:

— Это фабрика, уважаемые, а не Сейм. Для таких вопросов есть партсобрания, собрания коллектива. Там можете свои претензии предъявлять. Но скажу сразу: пока у вас ничего конкретного... А сейчас извините, мне работать надо.

Они очень хотели, чтобы я был с ними. Я на фабрике двенадцать лет, пользуюсь авторитетом, беспартийный, и никакая административная карьера меня не волнует. Я конструктор, и мне довольно... Но вот только я одних спровадил — другие идут. За всем этим брожением стоял инженер Бартек. Но он, как настоящий игрок, мне лично никогда ничего не говорил. Разве что с улыбкой, по-приятельски:

— Ты же видишь, коллектив директором недоволен, что поделаешь, — и вздыхает, руками разводит.

Такой азартный своего не упустит, а еще и ситуация в его пользу. Вся Польша этими делами охвачена. Директора мне было жалко. Он как на вулкане жил — и еще должен был делать вид, что не знает, в чем дело. И такая анархия началась, люди в цехах вместо работы митингуют, подписи собирают.

С меня этого уже хватило. Я официально к нашему секретарю парткома:

— Товарищ, плохо ведется работа на предприятии. Интриги, подрыв авторитета. Я отвечаю за производство — и считаю своей обязанностью информировать о сложившейся ситуации воеводский комитет, потому что если такое положение сохранится и далее, то понятно, что квартальный план мы не выполним...

Так ему и резанул. Секретарь растерялся. Он, может, и не был в сговоре с этими скандалистами, но не мешал им. Ну, я и позвонил в воеводский комитет, в отдел промышленности... И представьте себе, как они среагировали и как быстро — через три дня. Приезжает на фабрику инструктор или даже замзав промышленного отдела, собирает партактив и руководство. И так хитро подгадал, что директор как раз уехал на конференцию в объединение. И этот из воеводского комитета хорошенько всем собравшимся всыпал за склоки и анархию, а в конце говорит:

— Товарищи, вот вам партийный приказ. Немедленно прекратить все завихрения, мы сами провели расследование по месту рождения, проверили даже на кладбище. У товарища директора нет никаких еврейских корней.

Я тут посмотрел на инженера Бартека. Он и глазом не повел, что проиграл этот раунд. Как всегда, мило улыбается. Притаился, а если снова что-то возникнет, то пойдет в атаку... А я вот всё же думаю, что есть-таки еврейские корни у нашего директора — только семья давно ассимилированная, смешанные браки и так далее. Но похож на еврея. Волосы выются. И глаза, особенно эти бегающие глаза...



Дмитрий Евтушенко

МАСТЕР-КЛАСС КШИШТОФА ПЕНДЕРЕЦКОГО В ВЮРЦБУРГЕ



Кшиштоф Пендерецкий. Рисунок автора статьи

Этот этюд сепией я сделал вчерашним вечером в местной Hochschule für Musik. В Вюрцбурге сейчас проходят «Дни Пендерецкого». Вот в рамках этих дней и была организована встреча маэстро со студентами отделения композиции. Людей в довольно небольшом зале было, прямо скажем, немного. Я вполне вольготно сидел один во втором ряду со своими рисовальными принадлежностями метра в трех-четырех от композитора.

Пендерецкий сидел на сцене вместе с профессорами школы и студентами, которые осмелились представить на его суд свои произведения. Процедура была такой. Вначале студент ставил компакт-диск с собственным сочинением, а на экран проецировалась нотная партитура. После

чего начинался «разбор полета». После первой же композиции, представляющей собой мало запоминающийся набор цитат и звуков, мастер на хорошем немецком начал так: «Я и мои друзья начинали сочинять музыку в пятидесятые годы, когда очень многое в Польше было запрещено. И из чувства протеста мы писали духовную музыку, авангард, всё, что не приветствовалось нашими властями...» Так как мне тоже иногда приходилось бывать в роли «молодого и начинающего», показывающего свои опусы «живому классическому», я понял, что это отсылка в собственную молодость, довольно типичное правило... Но молодой композитор не унимался, и между ними завязался такой диалог, к которому подключалась и остальная молодежь:

— Но разве сейчас нельзя сочинять музыку из чувства протеста?

— Против чего можно протестовать сейчас?! (Я мысленно ответил пану Кшиштофу, что против «формата», стандартизации и давно ставшего общим местом желания быть во что бы то ни стало оригинальным. Когда всё разрешено, это тоже не очень хорошо для искусства.)

— Но разве вы не видите в современной музыке великих композиторов?

— Что такое современная музыка? Объясните мне. А что до великих композиторов, все они, к сожалению, мертвы. Стравинский, Шостакович... Я часто бываю в Японии, в Корее, слушаю произведения местных современных композиторов, написанные в иной, восточной традиции. Это интересно. А что до сегодняшней западной музыки, то я не понимаю ее. Ничего оригинального не вижу. Для меня современная музыка — это хаос.

— А что для вас тогда служит признаком музыки?

— Логическая конструкция музыкальной фразы как основа. Это меня интересует больше всего.



— Выходит, вся музыка уже создана, и особого смысла сочинять больше нет?

— Ну, с такими мыслями лучше даже не садиться за нотную бумагу... Пока вы еще молодые, мой вам совет. Так меня учил мой профессор. Сочиняйте каждую неделю по одной вещи в различных стилях. Что-то в стиле Малера, что-то в стиле Дебюсси. Пробуйте себя в самых разных манерах. И тогда в конце концов вы найдете свой собственный язык. Сколько вам лет? Ну, еще есть время...

После этого обмена репликами мастер предложил послушать собственное сочинение. Если я ничего не путаю, зазвучала мелодия из последнего фильма Анджея Вайды «Катынь». Настолько захватывающе и мощно, что все теоретизирования об искусстве авангардном и не авангардном стали казаться не имеющими смысла. Лицо Пендерецкого тоже заметно преобразилось в этот момент. Мне, к счастью, удалось запечатлеть это в карандашном наброске.

«Вот видите, — сказал он, когда вещь закончилась, — здесь я использую вполне традиционные, классические формы. Это и есть музыка, единственное, что имеет для меня значение...»

После чего еще один студент продемонстрировал свое сочинение. Тоже, кстати, не изобилующее диссонансами. Пендерецкий слегка оживился: «Вот видите, здесь вы вполне удачно используете классические приемы». Еще один юноша свое произведение, имеющее название «Бетховенский фриз», предварил вступительным словом о том, что это сочинение для фортепьяно

было написано под влиянием «Бетховенского фриза» работы Климта. Ну а сама музыка была, на мой взгляд, не слишком внятной, хотя и претенциозной. Я следил за партитурой на экране. Там в одном месте над длинным арпеджио было написано: «Гениальность, возвышенность» (что-то в этом роде). По окончании, хорошо понимая его ощущения, я смотрел в лицо юноши. И сердцебиение угадывалось, и надежда... Но пан Кшиштоф сказал буквально так: «Мало кто сегодня пишет для фортепьяно. Это не так просто. Хорошо, что вы осмелились. Больше я ничего не могу сказать». Еще было несколько вопросов из зала: про его религиозные взгляды, про работу в кино, про электрические инструменты. По поводу последних он сказал, что появление новых инструментов помогает развитию музыки. И когда появилось электричество, у него были на это надежды, но они не оправдались, хотя сам он и писал для электроинструментов. Потом прозвучала еще одна вещь Пендерецкого авангардного характера. Но я уже отчетливо слышал ту самую «логическую конструкцию музыкальной фразы», которой совершенно не было в сочинениях студентов.

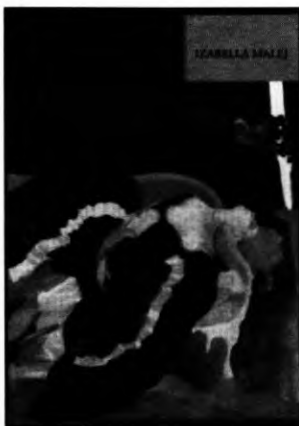
Вот так и прошли два часа беседы. Сделал я в общей сложности пять набросков и зарисовок. Вот самая первая. Я ее начал до начала встречи, когда все только рассаживались. Это только самое первое знакомство с лицом.

Ну а сегодня пойду туда же, послушаю его симфонические вещи. Оркестром, вроде бы, он сам будет дирижировать.



Эугениуш Собољ

ПОЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД НА РУССКИЙ ЭРОС



В литературоведческих исследованиях литература русского Серебряного века, то есть конца XIX — первого десятилетия XX века, переживает сегодня ренессанс. В Советском Союзе эту эпоху пренебрежительно называли *буржуазной и декадентской*, многие ее выдающиеся представители были обречены на полное забвение, а немногочисленные опубликованные критические работы писались крайне предвзято — с марксистско-ленинских позиций. А ведь это был один из самых прекрасных периодов русской литературы, породивший таких авторов, как Александр Блок, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева. Их поэзия прочно вошла в канон мировой литературы. Монография Изабеллы Малей дает исчерпывающее представление о необычайно важной для русского символизма эротической тематике, которая в некотором смысле стала отличительной чертой этого художественного направления. Это произошло благодаря

духовному покровителю всей эпохи, философу Владимиру Соловьеву, который существующую еще в Киевской Руси концепцию Софии — Божественной мудрости превратил в оригинальную доктрину софиологии, где София — Божественная ипостась, посредница между материальным миром и Богом. Изабелла Малей показывает, как идеалистическая философия Соловьева, в которой мы находим отголоски платонизма, произведений Бёме и Сведенборга, вдохновила других мыслителей — Николая Бердяева, Павла Флоренского, Сергея Булгакова и Василия Розанова, — создавших религиозно-мистические концепции *обожения* человека и отсылающих к христианскому понятию любви-агапе. Влияние философии на литературу автор прослеживает на материале творчества Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Константина Бальмонта, Андрея Белого и Александра Блока. Книга Малей важна хотя бы ввиду внимания к этому последнему поэту, значение которого для русской литературы можно сравнить разве что с Пушкиным, но жизнь и творчество которого до сих пор не вызывало серьезного интереса у польских литературоведов. К тому, чтобы писать о Блоке, вроцлавская исследовательница была солидно подготовлена. В 2002 г. она издала книгу «Синдром ярмарочной палатки, или Русский символизм в кругу арлекинады», в которой представила интересное истолкование его поэзии сквозь призму гротеска и катастрофических мотивов. В «Эросе» же она сосредоточилась прежде всего на символике вечной женственности — Софийных Мадоннах. Этапами воплощения этого символа оказываются — в нисходящей линии от Небесной Софии до Софии Падшей — образы Офелии и Прекрасной Дамы (свидетельства юношеской веры в идеальную любовь), Незнакомки и Снежной Девы (*femme fatale*), а также Клеопатры, Саломеи и Донны Анны — женщин, застывших в вечном сне или вызывающих у поэта тревогу и страх. Самые захватывающие интерпретации Малей представляет там, где проводит сравнения междисциплинарного типа. В главе, посвященной итальянским стихам Александра Блока, которые родились из творческого столкновения философии Соловьева с шедеврами итальянского ренессанса, увиденными поэтом во время пребывания в Италии в 1909 году, исследовательница видит перевод живописного образа на поэтический язык. Ярослав Ивашкевич, в поэзии которого мы открываем многочисленные цитаты, намеки и ссылки на Блока, также считал итальянские стихи самым выдающимся достижением петербургского поэта.

Изабелла Малей. Эрос в русском символизме. Философия — литература — искусство. Вроцлав: Изд-во Вроцлавского университета, 2008.



Сергей Секиринский

РОССИЯ И ЕВРОПА

Польский взгляд с Русского Севера



Польский писатель Мариуш Вильк поселился на Русском Севере в начале 90-х годов. С тех пор там и живет. Так сложилось несколько книг, созданных в свободном жанре эссе, заметок, писем: «Волчий блокнот» (рус. пер. — 2006), «Волок», «Дом на берегу Онего», «Тропами северного оленя». «Волок» вышел в русском переводе совсем недавно. О нем и пойдет речь.

С книгой полезно ознакомиться не только полякам. Уверен, много нового для себя о Русском Севере узнает и наш читатель, живущий, скажем, в Москве (как я, например, узнал). Но, конечно, это не путеводитель по региону. Главный интерес в книге представляют не исторические экскурсы и этнографические зарисовки, а ее главный герой и автор в одном лице — таков давно известный закон литературы этого жанра: рассказывая о *другом*, Вильк невольно рассказывает о себе, своей стране, иногда и прямо вспоминая ее не без доли национальной самоиронии: «Начал за здоровье, а свел за упокой! Начал с мёда, а кончил Речью Посполитой». Но и в рассказах о «загранице» одного из русских персонажей «Волока» самая выразительная деталь рисует не столько «Европу», сколько его собственную жизнь на Крайнем Севере: «В конце сороковых он служил в армии, стояли на Эльбе — в Германии; там он впервые увидел яблоки на дереве»!

В прошлом Вильк — диссидент, подпольщик, деятель «Солидарности», доверенное лицо Леха Валенсы. Не случайно в отдельных высказываниях автора на страницах книги проступает образ путешественника, отправившегося в Россию со знаменитой книгой Астольфа де Кюстина под мышкой. И сразу виден поляк! Хотя бы потому, что Кюстин — француз, а наш автор все-таки из соседней и родственной по крови и языку страны, тем не менее всегда стремившейся подчеркнуть свою принадлежность именно к цивилизации Запада. Но остается впечатление, что Вильк только примеряет на себя образ Кюстина как некий стереотип, чтобы можно было от него оттолкнуться. Перефразируя французского маркиза, который уверял читателей, что ехал в Россию, «дабы отыскать там доводы против представительного правления», а покинул ее «сторонником конституций», Вильк в интервью питерскому радио заявил: «Я приехал в Россию противником рабства, но, прожив тут восемь лет, потерял уверенность, что либеральный путь лучше». Если Кюстин, скорее всего, лукавил, утверждая, что именно посещение России заставило его полюбить свободу (для французского автора это был только удобный литературный прием), то в какой мере следует этому пути Вильк?

Похоже, он раздваивается между всем своим прошлым польским и новым,житым в России, на Севере, опытом. «Чем дальше здесь находишься, тем лучше ощущаешь нюансы, иронию и подтексты. (...) Наконец ловишь себя на том, что всё чаще думаешь по-русски... (...) Для меня, как и для большинства местных жителей российской глубинки, особенно на Севере, главное — перезимовать, а стало быть, такие детали, как свет, тепло, вода. И лишь потом — понятия отвлеченные: демократия, свобода слова или права человека». Но в своем творчестве Вильк выглядит не столь приземленным. Придавая особое значение свободной авторской индивидуальности, он сближает собственный стиль письма с прокладыванием тропы. «Используя слово «тропа» вместо слова «дорога», я подчеркиваю независимость идущего, его отказ следовать проторенным путем». А в его содержательных экскурсах в историю Беломорканала, Заонежья и Соловков, как и в наблюдениях над современной жизнью Русского Севера, *слишком часто* возникает тема ничтожности человеческой жизни и пренебрежения личной свободой, чтобы нельзя было не понять: для самого автора это первостепенные ценности.

Цитируя указ Екатерины II, в котором императрица требовала от взбунтовавшихся заонежских мужиков, чтобы они вернулись к «рабским повинностям своим» и добывали мрамор для строительства Исаакиевского собора в Петербурге, Вильк заключает: «Понятие «рабская повинность» в указе Екатерины точно передает отношение российского государства к подданным — от Иванов до Сталина».



Ну, а «подданные»-то что? Каково их отношение к этому прошлому или хотя бы друг к другу?

Случайная остановка на берегу пребывающего в запустении Канала. Сторож здешней ремонтной базы помнит другие его времена. По словам старика, тогда «за прогул в Лесную Речку ссылали и там приканчивали. А теперь — тьфу, мать твою». В ответ на попытку возразить: «мол, столько жертв, да и вообще... Старик перебивает, махнув рукой в направлении мужиков:

— Все равно ведь подохнут, а так хоть польза какая-никакая».

Вильк резюмирует: «Такое ощущение, что где-то я уже это читал». И вспоминает столетней давности разговор одного этнографа с местными мужиками о строительстве царской дороги. «На вопрос, не слишком ли много народу погибло по воле царя, мужики соглашались, что да, еще как много, но кабы не погибли, и дороги бы не было, а ведь всё одно померли бы, так хоть с пользой для дела».

И снова наши дни. Карелия. Село Лекшмозеро. Местный церковный праздник. «Праздновали неделю. За это время утонул в озере пацан. Мужики с горя пили на берегу, но ни один не пошел вытаскивать утопленника. — Сам выплывает,— говорили...».

Постоянные обращения к этим сюжетам в хаотичном, на первый взгляд, повествовании и составляют, на мой взгляд, ту «изменчивую линию повторов», о которой писал вдруг вспомнившийся Вильку Набоков, правда, имея в виду человеческую судьбу. Но такой же «неповторимый рисунок» проступает за строками польского автора, позволяя различить черты человека иной культуры, иных во многом понятий, несмотря на то что на протяжении всей книги он склонен полемизировать с наиболее стереотипными из них. Поводы дают соотечественники и соотечественницы, берущиеся писать, например, о Москве, а из Москвы — о России. Это не мешает им вылавливать в русской жизни много верных деталей. «Меня поразило, что то же самое — порой — чувствую, слышу и вижу я сам. Единственное отличие — в слове «порой». Потому что если я обычно вижу Россию зимой — белой, а летом зеленой, то пани Кристина видит Россию преимущественно черной. (...) Но черный цвет в России — не доминирующий». Хотя Россия и не Европа, «стереотипные формулы, словно из журнала «Впрост» или «Политика», к ней не подходят. «При переводе некоторых русских слов на польский возникают проблемы, связанные с отсутствием для них в польской речи почвы — бытовой, ментальной... В итоге при переводе складывается ситуация, когда слово есть, но отсутствует определяемый им предмет или опыт, и происходит подмена, при которой за найденным польским словом стоит уже не российская, а польская реальность, а то и вовсе ничего». А бывает, одна и та же реальность требует разных слов! В День Победы на Соловках «я навестил ветеранов Второй мировой войны, именуемой здесь Великой Отечественной», — поясняет автор существенное различие в наименовании последней большой войны, прокатившейся по обеим странам. Но война одна, а память о ней разная! Не менее (даже более) разительными представляются автору и различия между коллективной памятью русских и немцев, стираемые «универсальным (и в определенном смысле абстрактным) понятием «тоталитаризм»»: «Можете себе представить, чтобы в сегодняшней Германии каждая годовщина прихода Гитлера к власти праздновалась как выходной день? И день этот именовался Днем согласия и примирения?» Или, скажем, чтобы немцы после войны курили папиросы «Освенцим» или «Треблінка», как русские — «Беломор»? «Путешествуя по Каналу... и беседуя со множеством людей, в том числе с детьми ссыльных и бывших зэка, я с изумлением обнаружил, что все они гордятся этой стройкой — словно египтяне своими пирамидами».

Характерно, что и о своем парафразе знаменитого высказывания Кюстина Вильк упоминает в книге лишь мимоходом и только потому, что этот парафраз очень понравился тепло принимавшему автора начальнику Беломорско-Балтийского канала — своеобразного памятника рабскому труду и сталинской лагерной системе.

«Останки тоталитарных иллюзий XX века», конечно, не вызывают у Вилька такого преклонения, как порой у тех, кто здесь вырос, жил, *выжил*! Выжил часто не *вопреки* лагерной системе, а *благодаря* ей. Если от лица *первых* — не только выживших, но и погибших — выступили Солженицын с Шаламовым, то Вильк пытается найти новую грань, увидеть Россию, Север глазами тех, кому, перефразируя польского автора, пачка «Беломора» руку не жжет, память не берedit, душу не возмущает. И, тем не менее, их лица теперь ему порой напоминают иконы, а их судьбы он находит достойными житийного жанра. Таков, например, Семен Петрович Рыкусов, крестьянин-сирота (отец погиб на «германской»),



батрак из Белгородской губернии. Едва успел встать на ноги, жениться, купить корову, лошадь, телегу («без телеги мужик не хозяин») — всё отобрали в ходе коллективизации, только корова осталась (благодаря ей пережили голод 33-го года); потом — служба в армии на Дальнем Востоке, а после службы — справка, которая «означала свободу» (получение паспорта). Бегство из нищего колхоза на побережье Белого моря. Служба в лагерной ВОХРе на Соловках. Оклад сто рублей! Приезд жены Евдокии. Дети. Война. Фронт. Ранения. Возвращение к семье с тремя детьми в родную деревню на Белгородчине. И снова бегство из голодной жизни («колхоз хлеба не давал — чужие») на Соловки — «там его знали».

«На вопрос, когда ему было на Соловках лучше всего, Рыкусов, не задумываясь, отрезает: при лагере!»

— Тогда в магазине было все. (...)

— Не жизнь была — рай, — вставила молчавшая до сих пор Евдокия Яковлевна.

— Тогда труд уважали, и дисциплина была, не то, что сегодня».

С той же, в сущности, точки зрения, высказанной одним из прежних начальников на Канале, и быт заключенных в лагерях был не столь уж плох. Вильк с холодным спокойствием цитирует своего собеседника: «Украинский мужик посылал часть своего лагерного пайка родственникам, а шахтер с Донбасса восторгался здешними бараками — дома-то его ждала подмокшая землянка».

Что ж, ударная северная стройка снабжалась, наверное, лучше, чем южный голодный край. И все, кто к ней был причастен, это в той или иной степени ощущали. Но ретроспективный взгляд автора на то, что происходило за пределами этой стройки, фиксирует и другую реальность: «Утром я вышел из дому. Над полями витала легкая мгла. Передо мной в голубой вуали мерцало то, что было некогда богатой деревней Харлушино, затем колхозом «Новая жизнь», после — колхозом «Сталинец», а ныне пустошью в тумане».

И все-таки Вилька влечет этот отчасти уже опустошенный, отчасти еще не освоенный край, где сама русская история выглядит как недостроенное здание на фоне многотысячелетних свершений природы: «Ледник формировал Онегу дольше, чем история — абрис России. Стоит ли удивляться, что очертания озера более устойчивы?»

Значит, для России это оставляет надежду? Ведь незавершенность ее «абриса», в котором польский взгляд «порой» выхватывает вполне сложившиеся черты, подразумевает какую-то перспективу.

Но очевидно, Вилька увлекает не это. Его тянет в самую глушь, туда, где жизнь людей «практически не менялась на протяжении веков... Во многих селах нет электричества, что уж говорить о телевидении. Здесь наконец можно жить без свидетелей, можно укрыться. По-настоящему».

Укрыться по-настоящему от чего?

От того прошлого, которое почти не вспоминается в книге?

Напомню, *тот* Вильк — общественный активист и, согласно позднейшей самооценке, человек, находившийся «по уши в «Солидарности»». Но сейчас настроение иное: «Кто бы тогда мог подумать, что эта десятиллионная гора рассыплется, словно карточный домик...».

«Такое ощущение, что где-то я уже это читал», — приходится повторить вслед за Вильком. Подобная разочарованность в ходу и среди наших «вчерашних» либеральных интеллигентов. А на исходе 1880-х годов Чехов в связи с чем-то подобным писал о чрезмерной утомляемости *русского* человека. Значит, и у *западных* славян похожая утомляемость? Каюсь, это вызывает у меня чувство некоторого удовлетворения: не одни мы такие в Европе, по крайней мере восточнее Одера! Но тогда и резко очерченная граница между Россией и Европой начинает казаться не столь уж очевидной. А может быть, и обманчивой?

Мариуш Вильк. Волок. Пер. с польск. И.Адельгейм. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008. 248 с.



Эльжбета Савицкая

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

■ На экраны польских кинотеатров вышел фильм «Попелушко. Свобода — в нас». Торжественная премьера прошла в Большом театре. В зрительном зале присутствовали президент Лех Качинский, примас Польши Юзеф Глемп, митрополит Варшавский архиепископ Казимеж Ныч, маршал Сейма Бронислав Коморовский, а также Марианна Попелушко, мать убитого спецслужбами священника.

Погибшего священника сыграл актер Адам Воронович, заслуживший за эту роль высокую оценку рецензентов. Режиссер и сценарист Рафал Вечинский признался журналистам, что труднее всего было вписать архивные документы в кинематографическую действительность. Директор Польского института киноискусства Агнешка Одорович выразила надежду, что фильм заполнит брешь в историческом сознании молодого поколения поляков. Съемки фильма продолжались семь месяцев. В нем снялись семь тысяч статистов и двести актеров, в т.ч. Иоанна Щепковская, Майя Коморовская, Збигнев Замаховский и Марта Липинская. Картина обошлась почти в 12 млн. злотых.

Мнения относительно художественной ценности фильма разделились. «В этом фильме все настоящее. Надежда, страх, смелость, бунт, отчаяние, — пишет Барбара Холлендер, рецензентка «Жечпосполитой». — Важно, что режиссер не эпатирует ни клерикализм, ни ура-патриотизмом. Он рассказывает о стойкости народа, который не был сломлен режимом. И выстоял благодаря тому, что сохранил главные ценности — честность, солидарность. Я рада, что появился этот фильм». Ее молодой коллега из той же редакции не согласен: «Следя за развитием событий, я не мог избавиться от чувства, что, работая над сценарием, Вечинский в спешке листал то страницы биографии Попелушко, то учебник по истории Польши. Из такой истории молодежь вынесет столько же, сколько из спутанного конспекта лекции,

прочитанной скучным преподавателем. Нам не нужно такого кино. Фильм не объясняет и самого феномена отца Ежи. Герой не переживает на экране никакого развития. С точки зрения драматургии он неинтересен. Мы не видим, как из застенчивого семинариста рождается священник, который своей позицией придавал мужества миллионам. С первых минут это просто симпатичный святой. Жаль киноплёнки на такую агиографию».

■ В марте Польский культурный центр в Москве представил зрителям фильм Анджея Вайды «Катынь». Демонстрация фильма прошла на следующий день после 69-й годовщины со дня подписания Сталиным приказа о расстреле более 22 тысяч военнопленных — польских офицеров, взятых в плен после нападения СССР на Польшу в 1939 году.

Перед сеансом выступила Инесса Яжборовская, одна из трех авторов книги «Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях», рассказывающей о механизмах засекречивания катынского преступления и борьбе за обнародование правды о трагедии польских пленных. Это был пятый показ фильма Анджея Вайды в столице России. «Катынь» показывали также на отдельных сеансах в Смоленске, Твери, Краснодаре, Оренбурге, Чебоксарах и Петербурге. Однако пока что картина не вышла в официальный российский прокат.

■ Уже второй раз в Москве пройдет Фестиваль польских фильмов «Висла». С 9 по 15 апреля в кинотеатре «Художественный» жители российской столицы смогут посмотреть 17 наших фильмов. Все они будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Почетное покровительство над фестивалем с польской стороны осуществляет министр культуры и национального наследия Богдан Здроевский. В организации и поддержке фестиваля участвуют город Варшава, Польское



телевидение и Польский институт киноискусства. С российской стороны фестиваль взяли под свое покровительство министр культуры Александр Алексеевич Авдеев, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков и директор Московского кинофестиваля Наталья Михайловна Сёмина.

Москвичи увидят лучшие, недавно награжденные фильмы: «Безмерность правосудия», «Братишка», «Время умирать», «Всё будет хорошо», «Все мы Христы», «Двое и немного времени», «Краткая истерия времени», «Кто никогда не жил», «Лейдис», «Одиночество в сети», «Ранчо Вильковы», «Сад Луизы», «Светлые голубые окна», «Стадион бездомных», «Тестостерон», «Четыре ночи с Анной», «Штучки». Фильмы оценит жюри, в состав которого входят, в частности, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен, а также выдающийся специалист по польскому кино Ирина Рубанова. На закрытии фестиваля победитель получит диплом и специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» (одна из важнейших премий, вручаемых в России критиками) за лучший польский фильм.

■ Стоит напомнить, что прошлогодний фестиваль «Висла» пользовался большой популярностью — кинотеатр «Художественный» посетили более 8 тыс. зрителей. Главную премию завоевал фильм «Жасмин» режиссера Яна Якуба Кольского. Фестиваль начался с мультипликации — с российской премьеры фильма «Петя и волк» («Оскар»-2008) и фильма «Кизи-Мизи» Мариуша Вильчинского, считающегося одним из важнейших мультипликаторов и причисляемого к мировому авангарду мультипликационного кино. Демонстрация фильмов сопровождалась множеством других культурных событий: концертами, выставками, лекциями. В открытии фестиваля участвовала польская делегация из полутора десятков человек. Среди них были создатели фильмов: один из продюсеров мультфильма «Петя и волк» Хью Уэлчмен, который привез на российскую премьеру статуэтку «Оскар», Мариуш Вильчинский и Дариуш Гаевский, актриса Агнешка Гроховская, продюсер Збигнев Жмудский, заместитель директора Польского

института киноискусства Мацей Карпинский, а также многочисленные журналисты из России и Польши. Были и представители российских министерств культуры и кинематографии. Фестиваль завершился показом получившего в свое время «Оскара» «Пианиста» Романа Полянского.

■ Издательство «Мир книги» выпустило книгу Марека Новаковского «Сионисты — в Сиам» о событиях марта 1968 года. Писатель стал вести записи в 1967 году. «Нельзя забывать, что до событий 68-го была арабо-израильская война, а после нее в Польше начался период Мочара. Чувствовалось нарастающее напряжение. Тогда я и начал записывать. Разные истории — то, что люди говорили, описание событий, свидетелем которых я оказался, сцены из личной жизни, разговоры в кафе, рассказы знакомых. Много чего происходило. Так появился текст-коллаж, созданный быстро и по горячим следам. Я назвал его тогда «Как я завидую цыганам» — из-за их любви к свободе», — рассказывал автор на презентации книги.

Новаковский привез свой текст Ежи Гедройцу, который хотел его сейчас же опубликовать как один из первых рассказов о мартовских событиях. Однако автор решил, что публикация в парижской «Культуре» может обречь его на литературное небытие в Польше. И опубликовал только фрагменты под псевдонимом Северин Кварц. Полный текст лежал в архиве «Культуры» почти 40 лет. Отрывки из книги мы печатаем в этом номере «Новой Польши».

■ Выходящий во Вроцлаве ежемесячный журнал «Одра» присудил свою ежегодную премию Янине Кац, автору написанной по-датски повести «Пущка» (польский перевод Богуславы Соханской) и сборника стихов «Писать по-польски» — «за умение без самоцензуры и сдержанно показать не только свою судьбу, но и сложные моменты польской истории до 1968 года».

Янина Кац родилась в 1938 г. в краковской еврейской семье. Во время II Мировой войны ее прятала польская семья в Добчицах. После войны Янина изучала польскую филологию и социологию в Ягеллонском университете. В 1969 г. на волне антисемитских репрессий эмигрировала в Данию, сотрудничала с парижской «Культу-



рой», «Пульсом», радио «Свободная Европа», Би-Би-Си. В Польше как писательница почти неизвестна, зато в Дании высоко ценится. Лауреат многих престижных премий, в т.ч. премии Датской литературной академии за творчество в целом, а также Датского союза писателей «за вклад в дело взаимопонимания между народами». Прозаический дебют Янины Кац «Моя жизнь варвара» (изданная по-польски издательством «Яцек Санторский и К^о»), книга, основанная на истории ее семьи, получила премию Датского государственного фонда искусства за лучший датский роман 1993 года. В заключение своих воспоминаний писательница пишет: «Жизнь — это рассказ. Но только счастливым удастся переписать его начисто». Стихи Янины Кац печатались на страницах «Новой Польши» (2007, №2).

■ Клаудио Магрис (род. в 1939 г. в Триесте), выдающийся итальянский писатель, германист, переводчик, эссеист и фельетонист, будет удостоен в мае титула «Человек пограничья». Этот титул присуждается каждые два года центром «Пограничье искусств, культур и народов» в Сейнах. «Принимать такого выдающегося гостя, который своей жизнью и творчеством обратил внимание на наследие Центральной Европы, для нас большая честь. Магрис сделал свое искусство универсальным, он описывает не одно место, а скорее весь мир», — сказал директор «Пограничья» Кшиштоф Чижевский.

В мае, во время вручения премии, должна состояться дискуссия между Магрисом и Томасом Венцловой. Два замечательных автора должны беседовать о двух городах-символах пограничья — Триесте и Вильнюсе.

В этом году издательство «Пограничье» планирует опубликовать две книги Магриса: сборник эссе «Итака» и «Сабли». В «Саблях» автор затрагивает сложную тему казаков, которые поддались на уговоры немцев и стали союзниками Гитлера. В конце II Мировой войны британские власти выдали их СССР, и по дороге в лагеря многие из них совершали самоубийство, чтобы избежать мести.

Титул «Человек пограничья» присуждался: Ежи Фицовскому, знатоку творчества Бруно Шульца и цыганской проблематики, Томасу Венцлове, выдающемуся литовскому

писателю и поэту, Арво Пярту, эстонскому композитору современной хоровой и инструментальной музыки, а также украинскому публицисту Богдану Осадчуку.

■ Удачная премьера в варшавском Национальном театре. Критики в один голос хвалят постановку неизвестной в Польше комедии «Мнимая служанка, или Наказанный плут» Пьера де Мариво, французского драматурга XVIII века из поколения Вольтера.

Режиссер — Жак Лассаль, бывший директор «Комеди Франсез», тот самый, который взял в свою группу Анджея Северина, француз, который чувствует себя в Варшаве уже почти как дома. Три года назад он поставил в Национальном театре великолепного «Тартюфа», до этого привозил на гастроли «Мизантропа» и «Дон Жуана».

Перевод — Ежи Радзивилович, известный польский актер.

Графомания? Не стоящая внимания мелочь? Не совсем. «На первый взгляд слабенькая, как из оперы-буфф, история открывает в риторических фигурах светской беседы пикантную игру двузначного эротизма и моральную испорченность, которые превращаются в вольнодумный нигилизм и вскоре будут представлены в «Опасных связях», — замечает Януш Майхерек в «Газете выборчей».

«Режиссер Жак Лассаль, — пишет Януш Р. Ковальчик в «Жечпосполитой», — гармонично соединил в своей постановке ажурную сценографию, как с картин Фрагонара, с певучей, моцартовской легкостью, музыкой и прекрасной, слаженной игрой всех актеров. Особенно стоит отметить Ежи Радзивиловича, который в роли философствующего шалопая имел, как никогда прежде, возможность показать свою неподдельную комическую силу. Легкость, обаяние, совершенство, успех», — заканчивает свою рецензию Ковальчик. «Что и говорить — шедевр!» — вторит ему Майхерек.

■ Продолжим тему французской культуры. Варшавский Национальный музей подготовил крупнейшую в своей истории выставку французского искусства XVIII века из польских собраний. На выставке «Le siècle français» представлены картины и рисунки самых известных художников того времени. Среди них,



в частности, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Жан-Батист Грёз, Элизабет Виже-Лебрен, Клод-Жозеф Верне, Антуан Ватто.

«Цель выставки, — пишут ее кураторы Ивона Данелевич и Юстина Гузе, — показать искусство XVIII века во всем его богатстве и разнородности, начиная с позднего барокко и кончая рококо и классицизмом; от исторической и религиозной живописи до портрета, пейзажа и пейзажной тематики».

Выставка представляет собой 64 картины маслом и 94 рисунка, акварели и пастели из собраний варшавского Национального музея, а также Национальных музеев в Познани, Вроцлаве и Кракове, из варшавского Королевского замка, дворцов в Вилианове и Королевских Лазенках, из музея князей Чарторыйских и дворца в Яблонной (Польская Академия наук), а также из кабинета гравюр Библиотеки Варшавского университета и Национального института им. Оссолинских во Вроцлаве. Несколько произведений представили частные коллекционеры. Это прекрасный случай присмотреться к «французскому характеру европейской культуры XVIII века», как писали братья Гонкуры. Выставка продлится до 26 апреля 2009 г.

■ Между тем в познанском центре культуры «Замок» открылась выставка исключительно польской живописи — «Красота наготы». Она состоит из 70 ню, датирующихся концом XIX — началом XX века. На выставке представлены главным образом работы Юзефа Панкевича, Владислава Подковинского, Яцека Мальчевского, Леоны Хвистека, Людомира Следзинского, Тимона Несёловского, Ежи Новосельского — из собраний варшавского Национального музея, торунского Окружного музея, Музея искусства в Лодзи, а также Музея истории города Лодзи. Самая старая картина — «Семейство Фавна» Францишека Жмурки, написанное около 1890 года. Новейшие работы — «В ту ночь месяцы светили» Казимежа Микулского и «Обнаженная с тазом» Ежи Новосельского — были закончены в 1982 году. Выставка продлится до 26 апреля.

■ После пяти лет перерыва на экраны телевизоров вернулся культовый когда-то «Пегас», старейшая культурная программа Польского

телевидения. Это часть нашей истории: более сорока лет в эфире, 16 ведущих, различные формулы программы. На этот раз лицо программы «Пегас» — Филип Лободзинский, журналист еженедельника «Ньюсуик-Польша», переводчик с испанского, музыкант, в прошлом также детский актер (играл в популярных фильмах и сериалах для детей: «Путешествие за улыбку», «Ставлю на Толка Банана»). Авторы программы стремятся создать влиятельную культурную передачу, в которую будут приглашаться признанные авторитеты и творцы высокой культуры. Будет там и информация о премьерах, культурных новостях и событиях. Воскресший «Пегас» выходит в эфир по субботам в 8.40 утра. Для ранних пташек. В это время зрительская аудитория очень невелика.

■ Прощания. 23 февраля в Варшаве скончался Францишек Старовейский (творческий псевдоним Ян Бык), график, художник и сценограф, один из крупных представителей «польской школы плаката». Ему было 79 лет. Он был выдающимся художником и оригинальной личностью. Создавая свои произведения, он датировал их XVII веком, так как, по его собственным словам, это был его любимый период.

Он происходил из дворянского рода герба Биберштейн. Живописи учился сначала в краковской, а затем в варшавской Академии художеств.

Его живопись отличает неудержимая фантазия, любовь к барочной эстетике, восхищение полным женским телом, а также проходящая красной нитью тема старения и смерти. «Нагота на моих картинах обычно непривлекательна. Я нечасто рисую женщин «ради секса», скорее «ради аллегории», — говорил он. — Всё зависит от идеи художника. Я часто использую в рисунках женское тело, потому что оно лучше всего функционирует в качестве символа».

Картина Францишека Старовейского, написанная в 1997 г., висит в Брюсселе, в польской миссии при ЕС. Своим неоднозначным содержанием картина вызвала некогда множество споров. Трудно удивляться, ведь она носит название «Divina Polonia rapta per Europa profana» («Божественная Польша, похищенная светской Европой»).



Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Пугающее количество круглых дат становится поводом к различному подведению итогов и попыткам оценить то, что за эти два десятка лет происходило со страной, политикой, культурой и хозяйством. Одно из таких двадцатилетий — двадцатилетие независимости. Впрочем, о точной дате, безусловно, будут спорить историки лет еще так двадцать или тридцать. Что до меня, то я считаю переломным моментом несколько более позднюю дату, а именно передачу Леху Валенсе, после его избрания на высший государственный пост, президентских инсигний от последнего президента Польши — этот жест означал установление институциональной преемственности между Второй и Третьей Речью Посполитой. Куда отнести квазигосударственное бытие политической конструкции, называемой Польской Народной Республикой, ума не приложу, но пусть над этим поломают голову историографы и политологи.

Среди многих публикаций, связанных с двадцатилетием Третьей Речи Посполитой, один цикл кажется мне особо интересным: это опубликованный на страницах «Европы» (еженедельного приложения к «Дзеннику») ряд интервью с наиболее заметными в публичной жизни идеологами разных направлений. Роберт Красовский так пишет в статье «Первый этап правых поминок» (2009, №10): «После нескольких бесед с интеллигентами, которые ушли из левого движения, мы переходим к правому лагерю, где интеллектуальная и политическая жизнь носила еще более патологический характер». О том, что какое-либо из движений было свободно от патологии, вообще не идет речь, чему я, оглядываясь в прошлое (не лишенное, впрочем, различных симпатий к определенным лицам, хотя и не обязательно к представляемым им взглядам), особенно не удивляюсь.

В последнем номере еженедельника под заголовком «Как идеология „семейных ценностей“ погубила польских правых» опубликована пространная беседа с Рафалом Матыей (1967 г.р.), политологом и историком, в свое время одним из самых активных правых идеологов. Честно говоря, к моим собственным наблюдениям он мало что добавляет, тем более что то, о чем он ведет речь, довольно точно описано его коллегой Анджеем Хорубалой в неплохом романе под названием «Намоченные». Тем не менее имеет смысл обратить внимание на те причины, по которым Матяя прекратил участие в политической жизни. Название опубликованного материала возвращает к предвыборному лозунгу правых «Безопасное будущее — семейная ценность». Говоря о начале своего пути в 1980-е годы, Матяя подчеркивает:

«Правое движение было синонимом не столько реализма, сколько зрелости, мужского начала, чуждого иллюзиям. Этого я не принимал (было также морализаторство главного течения оппозиции). (...) Мой выбор против системы родился в разговорах с отцом (членом партии, министерским чиновником в ПНР. — Л.Ш.) и в определенной мере им подсказан. Первую нелегальную брошюру, какое-то западное издание, я получил именно от него. А в 24 года я уже одержал победу: отец голосует за правых на каждых очередных выборах. Видите, насколько парадоксально интереснее обстоит ситуация с выборами при коммунизме, чем та, в которой мы участвуем сейчас. Тогдашнее положение нас формировало более сильными и заинтересованными».

Следующий этап формирования позиции — это связи с Польской Церковью и *Opus Dei*:

«„Дорога“, то есть основной текст *Opus Dei*, попала мне в руки в 1985 году. Это был момент, когда я искал в Церкви родственную мне традицию. Однако я открыл для себя тогда не только традицию и даже не иные общественные взгляды, но язык, который формирует другую духовность. (...) Этот язык столь меня захватил, что я начал «Дорогу» переписывать. Может быть, этот прием сегодня покажется абсурдным, но это один из самых глубоких методов идентификации себя с текстом. Потом,



когда Opus Dei уже действовал в Польше, язык стал для меня важнейшей точкой координат — даже более существенной, чем политическая ангажированность, смысл которой блекнет в десятках непринципиальных сражений ни за что».

И далее, уже после 1989 года:

«Однако в действительности, особенно с конца 1990-х годов, я стал наблюдать смешение религиозного и политического языка, прежде всего в политическом оснащении Избирательной акции «Солидарность» и среди тех католиков, которые были вовлечены в этот политический проект (Избирательная акция «Солидарности» победила на выборах, во главе правительства встал Ежи Бузек. — Л.Ш.). Там появляются новые языки. (...) В движении правых тогда существовало три фундаментальных дискурса, которые я ощущаю как чуждые мне. Первый — это разрушающий политику дискурс радио «Мария» (католическая радиостанция. — Л.Ш.). (...) Второй язык польских правых (...) был более страшным — это был язык совместимости религиозности с быстрым обогащением. Это правая идеология «семейных ценностей». Можно было делать то, что обычно считается довольно скверным, и обосновывать это необходимостью «содержать семью». (...) Для меня (...) воцарение языка «семейных ценностей» уничтожало сферу общественной и политической активности. Помню, как некто отказался от работы на высоком посту в администрации, объясняя это тем, что заработок там не позволит содержать семью из трех человек. Вот если бы удалось найти место при Государственной казне, то тогда пожалуйста... Помню и заявление, что приличный дом под Варшавой должен быть площадью в 300-400 метров, а меньше — это просто нищета. Или демонстрацию перед коллегами своих свежеприобретенных западных лимузинов под лозунгом, что это «безопасные семейные автомобили». Правое крыло «семейных ценностей» — это был конец каких-либо мыслей об обществе, это был конец общества. (...) В Избирательной акции «Солидарность» представители молодого и среднего поколения, которые входили в политику со стороны религиозных сообществ и организаций, сразу спрашивали, где можно заработать больше, чем несколько тысяч злотых, искали себе постов в контрольных советах».

И, наконец, третий дискурс, который «был довольно удивителен и который существует до сих пор», а именно «поиски религиозно-общественного максимализма, поиски сильной политической идентичности — но заимствованной от Церкви». Представители этой формации — создатели «Политического богословия» — «были близки обеим партиям, боровшимся в 2005 г. за власть. Они хорошо знали реалии управления, твердо стояли на ногах, а одновременно тревожили общественность странными выходками, напоминающими карнавальное переодевание: раз представляли (...) рационалистами, презиравшими глуповатых и анахроничных правых, другой раз — старопольскими республиканцами, апостолами мессианизма. И все это с крепкой религиозной или, как минимум, морализаторской примесью. И без всяких обязательств».

И в результате такого положения вещей, оставаясь верным своим республиканским убеждениям, Матяш ушел из активной политики:

«Я был как-то приглашен моими правыми религиозными коллегами на «рабочий обед» в «Шератон». Я не хотел идти в «Шератон», во-первых, потому что там скверно бы себя чувствовал, а во-вторых, считал показное богатство, нарочитую трату денег греховными. Один из коллег тогда мне объяснил: «Мы принадлежим к элите и должны бывать только в эксклюзивных ресторанах». Для меня это было неприемлемым. (...) Я не соглашался занять кресло в каком-либо контрольном совете или стать замминистра (а предложений хватало), потому что потерял бы себя (...). Тогда я и решил, что надо строить какие-то иные институты. (...) В результате удалось убежать от атмосферы наживы, уничтожающей последние остатки интеллигентности, сохранить собственное мнение в политике, независимость и возможность писать».

И в заключение: «В 1980-х — начале 1990-х консерватизм был едва ли не необходимым языком. Был инструментом познания, понимания действительности. Но уже в 1990-е он стал использоваться и совершенно по-другому: как выгодная, рациональная позиция, когда материальный доход от современной действительности совмещается с моральным комфортом, который приносит критика этой же действительности. Такой рафинированный инструмент, который позволяет прекрасно зарабаты-



вающему сотруднику банка или страховой компании в свободное время приятно поболтать. Здесь речь идет не о лицемерии или алчности. Дело в том, что таким образом понимаемый консерватизм — это просто механизм освобождения от ответственности. Это удобный механизм выражения недовольства системой, которая одновременно гарантирует тебе определенную стабильность. Поэтому консерваторы ничего не могут сказать по поводу кризиса, кроме как заявлять, что это не их вина. (...) Консервативная риторика убийственна для общественных институтов. Она может существовать только тогда, когда иные силы и идеи эти институты поддерживают. Консерватизм в его институциональных формах заставляет вспомнить левых старой закалки, которые ждали, что мир будет воплощать их мечты о справедливости. Цена же этих мечтаний их ничуть не интересовала».

Не знаю, относит ли Рафал Матыя к «левым старой закалки» Адама Михника (1946 г.р.). Скорее всего, нет. Однако Михник вырос из этих традиций. Интервью с ним под названием «Хотите защищать республику?», опубликованное в недавнем номере левого «Пшеглэнда» (2009, №10), в значительной мере посвящено оценке пути, пройденного Польшей с 1989 года. Вот что говорит Михник:

«Мой исторический, личный и профессиональный опыт свидетельствует, что эффективны такие перемены, даже революционные, которые удастся сдерживать. Если революция переходит в фазу безудержной борьбы за власть, то всегда идут в ход нечестные приемы. И я этого очень опасался. В Кортесах, испанском парламенте, до сих пор в потолке пули после мятежа подполковника Антонио Тейеро в феврале 1981 года! (...) В Польше благодаря тому, что существовал компромисс и что по другую сторону этого компромисса стояли генералы Ярузельский и Кишак, ничего подобного не случилось. И я им за это благодарен. И сейчас, через 20 лет, из-за каких-то искусственно сконструированных, внеисторичных претензий этих людей теребят, таскают по судам, обвиняют... С точки зрения национальных интересов, это антипольские, антинародные действия. (...) Я провел годы в тюрьме, подвергался нападкам. Мое знание о коммунистическом строе было знанием жертвы, но и знанием очевидца. Я наблюдал, как всё повторяется: наступал кризис, а затем, чтобы из него выйти, следовала оттепель и либерализация, говорилось о реформах, а потом аппарат, на основе своего внутреннего механизма, часто даже вопреки реформаторским декларациям партийных вождей, отвоевывал свой плацдарм, и всё возвращалось на прежние рельсы».

Это знание сопутствовало Михнику и другим оппозиционерам за «круглым столом» — и они опасались, что будут поглощены коммунистами и тем самым нейтрализованы.

В результате же Михник стал редактором наиболее влиятельной в течение ряда лет газеты:

«Это была ежедневная газета, которую делали люди из оппозиции, из кругов «Солидарности», часто с опытом подполья и тюрьмы. Они не впадали в две крайности. Никогда не впадали в, так сказать, пещерный антикоммунизм, то есть антикоммунизм с большевизмским лицом, ни в пещерный антиклерикализм. Никогда не позволили себя вовлечь в шквал нападков на Польскую Церковь, хотя сами не раз были объектом критики церковных иерархов (часто несправедливой). Здесь мы были очень внимательны. Конечно, спорили, не заходим ли иногда слишком далеко... И я тоже допускал ошибки — конечно, не должен был называть генерала Кишака человеком чести (...). Должен был сказать так, как говорю сейчас: что он сыграл чрезвычайно позитивную роль за „круглым столом“».

Но Михник был активен не только в сфере журналистики:

«В 80-е годы я внимательно наблюдал за тем, как идет дискуссия в кругах оппозиции. Прежде всего российской. Там было две символические, крупные фигуры — Александр Солженицын и Андрей Сахаров. И спор между ними был для меня наброском того, что произойдет после падения коммунизма. И когда мне или Яцеку Куроню напоминают, что мы еще в 1987 г. говорили, что коммунизм — это полбеды и что действительная угроза состоит в правом авторитарно-националистическом синдроме, то я принимаю такой упрек. Конечно, мы не могли знать, когда именно падет коммунизм, но знали, что эта идеология уже мертва. То же касалось и партии. (...) На всё это накладывалась политика. Она тогда была страшно важна. Многие споры о ПНР поражают меня своей внеисторичностью. (...) Провинциальностью. Потому что Польша была частью империи. И невозможно о Польше тех лет говорить вне советского контекста. (...) И только в этом контексте можно давать оценку тех лет, партии и вождей. Вне этого оценка непонятна. Снова можно услышать, что сотрудничество с комму-



нистическим режимом было сделкой со злом. (...) Конечно, это не было добром. И, конечно, рядовой врач, архитектор или инженер не может быть оценен по тем же меркам, что партийный деятель, министр или вождь. И все же следует постоянно ставить перед собой вопрос: неужели все, кто считал, что в тех рамках, в которые загнали Польшу, можно делать что-то хорошее и следует это пробовать, — неужто все они ошибались? Но даже если и признать это ошибкой, то можно ли клеймить этих людей именем изменников, коллаборационистов?»

Вообще-то, смотря кого. Следует подходить индивидуально, помня, что суд истории — это не приговор в уголовном процессе. И это никогда не последний суд, как мы знаем из повторяющихся дискуссий о прошлом. Но идем далее — уже в современность:

«Итак, чего я опасался после 1989 года? Я знал, что и власть, и оппозиция неоднородны. И будет размежевание уже по другим критериям, чем годом или двумя раньше. Раньше основой различия было: ты за диктатуру или против диктатуры. А раз уж нет диктатуры, то вся эта конфедерация оппозиции в силу вещей будет размежевываться. То же и другая сторона. Победит ли линия Квасневского, Бразаускаса, Ельцина или же тех людей, которые понимают, что следует идти к парламентской демократии, к рыночной экономике, к конституционному государству? Или иная линия — Зюганова, Милошевича (...) которые были настроены идти по пути перерастания коммунизма в агрессивный национализм? Тогда, кстати, я написал статью о том, что этнический шовинизм — это последняя, высшая стадия коммунизма. (...) С этой точки зрения считаю, что оценка роли генералов Ярузельского и Кищака, а с другой стороны, оценка роли тогдашнего руководства Союза демократических левых сил должна быть сугубо позитивной. Потому что эти люди подвигли посткоммунистическое общество к свободной Польше. Они перешли это Красное море. Благодаря этому Польша и победила на европейском референдуме».

В то же время, оценивая ряд правых течений, Михник обращает внимание, что часть из них, особенно в начале своего пути, но иногда и позже, как, например, братья Качинские, в политических действиях попадались в своего рода ловушку собственного опыта до 1989 года:

«Ведь единственной политической культурой, в которой они взрастали, была культура ПНР. И теперь демонстрируют эту политическую культуру «навыворот». Конечно, в других условиях, ибо система другая... Но не подлежит сомнению, что, когда политик «Права и справедливости» говорит о необходимости сильной национальной идентификации, здесь слышны Мочар и Гомулка образца 68-го года. И что это означает? Что национально сильный — тот, кого они считают таковым».

Такой позиции способствует кризисная ситуация, и к ней Михник обращается в заключительной части интервью:

«Принципиально вот что: наступают трудные времена, и сумеем ли мы в этих условиях создать фронт обороны республики? Или мы выберем путь, который избрали силы, развалившие Веймарскую республику? Вот в чем суть. (...) «Гражданская платформа» — это не герои моего романа. Но сегодня это единственный стабилизатор в политике. Ведь сегодня важно не то, социалист ты или либерал. Это сектантское мышление. Сегодня важно, хочешь ты защищать республику или нет».

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Проза: **И. Амиэль, А. Бобковский**
К. Тарас: о новых польских фильмах
Стихи Ежи Харасымовича
Р. Капустинский: фрагменты интервью
Витольд Куля: заметки историка
О. Закиров: из воспоминаний
К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к началу столетия
Наши за границей: А. Северин, В. Пшоняк, З. Рыбчинский,
А. Холланд, Р. Полянский, А. Кшивицкий и др.
Беседы Сильвии Фролов

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского, Хартвиг,
Яструна, Херберта и др.,

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой, Ройтмана,
Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»
допущен к распространению на территории Российской Федерации
Решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ №77-1063** от 3 ноября 1999 года)

Приглашаем всех читателей посетить интернет-сайт «Новой Польши»:

www.novpol.ru

Лучшие писатели и критики Национальная Библиотека представляет журналы:

twórczość

Старейший польский литературный ежемесечник, посвященный современной прозе, поэзии и литературной критике. Оказывает влияние на перемены в польской литературе.

тел.: +48 (22) 627-15-52;
тел./факс: +48 (22) 628-95-07
e-mail: tworczość@bn.org.pl

www.culture.pl/pl/culture/artykuly/cz_tworczosc

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесечник. На протяжении более полувека незаменимый источник информации о книгах. В каждом номере рецензии, интервью, статьи о писателях, публицистика, библиография, анонсы.

тел.: +48 (22) 826-62-60;
тел./факс: +48 (22) 826-62-35
e-mail: noweksiązki@wp.pl

Dialog

Ежемесечный журнал, посвященный современной театральной, телевизионной и радиодраматургии.
тел.: +48 (22) 608-28-80, +48 (22) 608-28-81;
тел./факс: +48 (22) 608-28-82
e-mail: dialog@bn.org.pl
www.dialog.waw.pl

dwutygodnik ruch muzyczny

Старейший и единственный в Польше журнал, посвященный музыкальной жизни, творчеству и вопросам музыки. Выходит 26 раз в году.

тел.: +48 (22) 608-28-70, +48 (22) 608-28-71;
тел./факс: +48 (22) 608-28-72
e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl
www.ruchmuzyczny.pl

LITERATURA na świecie

Ежемесечник. Единственный журнал, уже многие годы публикующий все достойные внимания новинки современной мировой литературы.

тел.: +48 (22) 827-47-91;
тел./факс: +48 (22) 828-64-96
e-mail: litnasw@free.art.pl

НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесечник. Единственный журнал о Польше на русском языке. Богатая подборка публицистики польских и российских авторов.

Переводы малоизвестных в России произведений польских поэтов и прозаиков.
тел.: +48 (22) 608-25-65, +48 (22) 608-27-95
тел./факс: +48 (22) 608-27-96; +48 (22) 608-25-05
e-mail: nowpol@bn.org.pl
www.nowpol.ru

odra miesięcznik

Ежемесечный журнал, широко представляющий современные проблемы общества и искусства. Форум критической гуманитарной мысли.

Польша и мир, история и возможное будущее.
тел.: +48 (71) 344-77-37;
тел./факс: +48 (71) 343-55-16
e-mail: odra@odra.net.pl
www.odra.net.pl

a akcent literatura i sztuka • kwartalnik

Ежеквартальный журнал, посвященный литературе и другим областям искусства в контексте последних достижений гуманитарной мысли.

Выходит в Люблине с 1980 года.
тел./факс: +48 (81) 532-74-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
www.akcent.glt.pl

TEATR

Ежемесечник, посвященный современному театру. Обзор последних премьер в Польше и за границей, критика, эссе, комментарии.
тел.: +48 (22) 692 88 19;
тел./факс: +48 (22) 692 88 18
e-mail: teatr@bn.org.pl



Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich

02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, tel. +48 (022) 608 23 74; tel./fax +48 (022) 608 24 88
e-mail: czasopatron@bn.org.pl; www.bn.org.pl

Cena 7 zł w tym 0% VAT

ISSN 1508-5589



9 771508 558096

04